

- [Марк Твен](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Глава XXI](#)
 - [Глава XXII](#)
 - [Глава XXIII](#)
 - [Глава XXIV](#)
 - [Глава XXV](#)
 - [Глава XXVI](#)
 - [Глава XXVII](#)
 - [Глава XXVIII](#)
 - [Глава XXIX](#)
 - [Глава XXX](#)
 - [Глава XXXI](#)
 - [Глава XXXII](#)
 - [Глава XXXIII](#)
-

Марк Твен

№44, Таинственный незнакомец

Рукопись, найденная в кувшине. Вольный перевод из кувшина

Это случилось зимой 1490 года. Австрия, обособившись от всего мира, пребывала в сонном оцепенении. В Австрии еще длилось средневековье и грозило продлиться на века. А кое-кто полагал, что нас и от средневековья отделяют целые столетия и, судя по умственному и духовному развитию людей, в Австрии еще не истек Век Веры. Говорилось это в честь, а не в укоризну и принималось соответственно, наполняя наши сердца гордостью. Я был еще ребенком, но прекрасно помню эти разговоры, как и то, что они доставляли мне удовольствие.

Да, Австрия, обособившись от всего мира, пребывала в сонном оцепенении, а нашу деревню Эзельдорф [*Ослиная деревня (нем.)*] сон сковал сильнее всех, потому что она находилась в центре Австрии. Деревня мирно спала в холмистой лесной глуши, новости из окружающего мира сюда почти не доходили, ничто не нарушало ее сна и бесконечного довольства собой. Деревня стояла на берегу спокойной реки, чью зеркальную гладь расписали отражения облаков и тени скользивших по воде барж, груженных камнем; позади лес поднимался уступами к подножию высокой отвесной горы; с вершины горы на деревню хмуро косился огромный замок Розенфельд, его башни и длинные крепостные стены обвивал виноград. За рекой, милях в пяти от деревни, беспорядочно громоздились холмы, поросшие лесом, рассеченные узкими извилистыми ущельями, куда никогда не заглядывало солнце; справа к реке обрывался утес, и между ним и холмами, о которых я уже упоминал, раскинулась обширная равнина, а на ней — то здесь, то там — пестрели крестьянские домишки среди фруктовых садов и раскидистых деревьев.

Вся земля на много миль окрест принадлежала роду князя Розенфельда, чьи слуги содержали замок в идеальном жилом состоянии, однако сам князь и его семья бывали здесь не чаще, чем раз в пять лет. Когда же они наконец являлись, казалось, сам господь бог сошел на землю, а вместе с ним — блеск и великолепие царствия небесного. Их отъезду сопутствовала мертвая тишина, будто все погружалось в глубокий сон после неистового веселья.

Эзельдорф был раем для нас, мальчишек. Ученьем нас особенно не морочили. Внушали, что надо быть добрым католиком, чтить деву Марию, церковь и святых мучеников превыше всего, благоговеть перед монархом, говорить о нем, понизив голос, со священным трепетом, обнажать голову перед его портретом, почитать благодетелем, дающим хлеб наш насущный и все земные блага, и сознавать, что мы посланы в этот мир с одной-единственной целью — работать на него, проливать за него кровь, отдать за него жизнь, если потребуется. Тот, кто затвердил эти истины, мог не утруждать себя более: по сути дела, ученье было под запретом. Священники проповедовали, что знание пагубно для простых людей, ибо при mnogой мудрости возникает недовольство участью, уготованной богом, а бог не терпит, когда люди ропщут на его, божье, предопределение. Эту истину священникам открыл сам епископ.

Именно недовольство едва не погубило Гретель Маркс, вдову молочника; она возила молоко в город на базар и сама правила тележкой, запряженной двумя лошадьми. В Эзельдорфе поселилась женщина-гуситка по имени Адлер; она тайком обошла всю деревню и заманила несколько глупых неискушенных людей к себе в дом — послушать как-нибудь вечером «Подлинное послание господа», как она выразилась. Адлер была коварная женщина: выискала тех немногих, кто умел читать, и улестила их, нахваливая их ум, уверяя, что только таким, как они, впору понять ее учение. Так она мало-помалу собрала у себя десять человек и еженощно отравляла их своей ересью. Дала каждому домой переписанные гуситские проповеди и убедила, что читать их вовсе не грешно.

Как — то раз отец Адольф шел мимо дома вдовы и увидел, что она, сидя в тени каштана,

росшего перед окнами, читает греховную писанину. Отец Адольф служил господу шумно, усердно и рьяно, всегда старался выставить себя в лучшем свете, надеясь дослужиться до епископа; он вел слежку за всем приходом, глаз не спускал не только со своей паствы, но и с чужой; он был беспутный, злобный, нечестивый, а в остальном хороший человек — так все вокруг считали. Имелся у него особый дар — он был мастер поговорить; язык у него был острый, язвительный и, пожалуй, немного грубый — впрочем, так считали только недруги: его шутки были, право же, не грубей, чем у других. Отец Адольф состоял в общинном совете и всех там прибрал к рукам; хитрыми уловками он всегда добивался своего, это, конечно, злило остальных; досадуя, они за спиной награждали его обидными прозвищами «племенной бык», «улада ада» и прочими, но так уж повелось: лезть в политику — все равно что, заголившись, соваться в осиное гнездо.

Отец Адольф нетвердой походкой шел по дороге; он был изрядно пьян, а потому очень весел и ревел рокочущим басом песню «Восславим деву и вино»; вдруг на глаза ему попала вдова, читающая книгу. Он, пошатываясь, остановился перед ней, вперил в нее рыбы глазки и, искривив гримасой толстое багровое лицо, спросил:

— Что у вас там за книга, фрау Маркс? Что вы читаете?

Вдова показала ему книгу. Отец Адольф наклонил голову, глянул и тут же вышиб книгу у нее из рук.

— Сожги эту ересь, дура, сожги! — в бешенстве крикнул он. — Разве ты не знаешь, что ее читать — грех? Хочешь загубить свою душу? Где ты взяла эту писанину?

Вдова все рассказала.

— Дьявол, так я и знал, — пробурчал священник. — Я займусь этой женщиной. Я такое устрою — земля будет гореть у нее под ногами. Ты ходишь на ее сборища, верно я говорю? Чему она тебя учит — почитать пресвятую деву?

— Нет, только господа.

— Так я и думал. Ты уже на пути в ад. Пресвятая дева покарает тебя — попомни мои слова.

Фрау Маркс слегка задрожала от страха и пыталась испросить прощения за свой проступок, но отец Адольф грубо оборвал ее и продолжал бушевать, расписывая, какие кары ниспошлет пресвятая дева на голову грешницы, пока с ней едва не приключился обморок. Фрау Маркс упала на колени и заклинала священника научить ее, как умилоствит пресвятую деву. Он наложил на нее суровую епитимью, еще раз отчитал, а потом снова затянул песню с того места, где он прервал ее, и побрел дальше, шатаясь и выписывая ногами кренделя.

Но через неделю фрау Маркс снова впала в грех — отправилась на молитвенное собрание в дом фрау Адлер. Не прошло и четырех дней, как обе ее лошади пали! Вне себя от горя, казнясь угрызениями совести, вдова помчалась к отцу Адольфу и, рыдая, каялась, жаловалась, что разорена и умрет с голоду; как ей теперь отвозить молоко на базар? Что она должна сделать? Вдова умоляла вразумить ее.

— Я предупреждал, что пресвятая дева тебя накажет! — негодовал отец Адольф. — Разве я не говорил тебе об этом? Черт подери, ты думала, что я лгу? В другой раз не пропустишь мои слова мимо ушей!

А потом он надоумил вдову, как ей быть. Пусть нарисует павших лошадей и совершит паломничество в церковь Пресвятой девы, покровительницы бессловесных тварей, повесит там картину и принесет пожертвование; затем вернется домой, продаст шкуры лошадей и приобретет на вырученные деньги лотерейный билет, чтоб его номер совпадал с датой их смерти, и терпеливо ждет ответа пресвятой девы. Через неделю пришел ответ. Обезумевшая от горя вдова вдруг узнала, что на ее билет пал выигрыш в полторы тысячи дукатов!

Вот как пресвятая дева вознаграждает искреннее раскаяние! Фрау Маркс отвергла ересь.

Исполненная благодарности, она обошла других женщин, посещавших сборища, и рассказала им про полученный ею урок, раскрыла им глаза на греховность и неразумность их поведения, на опасность, которой они себя подвергают; и тогда женщины сожгли проповеди и, покаявшись, вернулись в лоно церкви, а фрау Адлер пришлось искать другое место, чтоб продавать свою отраву. Наша деревня получила самый лучший, самый полезный урок за все время своего существования. Мы больше не позволяли гуситам селиться у нас, и в награду пресвятая дева взяла нас под свою опеку — сама стала нам заступницей, и с тех пор деревня процветала и благоденствовала.

Уж когда отец Адольф бывал в ударе, так это на похоронах, если, конечно, не пил, как бочка, а в меру, чтобы должным образом оценить святость отправляемой им службы. Какое это было зрелище — отец Адольф во главе похоронной процессии, шествующий через всю деревню меж рядов коленапреклоненной паствы! Одним глазом он косит в сторону псаломщиков — прямо ли держатся, ровно ли несут свечи, мигающие желтыми огоньками на солнце, а другим высматривает какого-нибудь глазеющего мужлана, позабывшего обнажить голову перед господом. Наш пастырь срывает с него злосчастную шляпу, бьет ею неотесанного зеваку наотмашь по лицу и грозно рычит: — Как стоишь, скотина, перед ликом господним? Если в деревне случалось самоубийство, отец Адольф горячо брался за дело. Он бдительно следил, чтобы местные власти исполнили свой долг — выгнали из деревни семью самоубийцы, конфисковали их жалкие пожитки и при этом не уворовали бы церковную долю; он был начеку и в полночь, у скрещения дорог, где зарывали в землю тело, не для последнего благословения — похоронный обряд для самоубийц запрещен церковью, — но для того, чтобы самолично убедиться, что кол в тело грешника вогнали умело и прочно.

А как величаво ступал он во главе крестного хода во время чумы, когда несли украшенную драгоценными камнями раку с мощами святого, покровителя нашей деревни, возносили молитвы деве Марии и зажигали свечи в ее честь, умоляя спасти нас от чумы.

9 декабря он всегда был душой праздника Умиротворения дьявола на мосту. Мост у нас в деревне очень красивый — каменный, массивный, с пятью арками, ему семьсот лет. Мост построил дьявол всего за одну ночь. Настоятель монастыря условился с ним, что он выполнит эту работу, но прежде долго его уламывал: дьявол говорил, что строил мосты для духовенства по всей Европе, а как доходило до расплаты, его всегда обманывали; если его и на сей раз обманут, он никогда больше христианам не поверит. Раньше, подрядившись построить мост, он требовал за свои труды первого, кто пройдет по нему, и все, конечно, понимали, что под первым встречным он разумел христианина. Разуметь разумел, да не говорил об этом, вот монахи и пускали через мост осла, курицу либо другую тварь, не обреченную на муки ада, и оставляли дьявола в дураках. Но на сей раз он сказал, что требует христианина, самолично вписал это слово в договор, так что увернуться от расплаты было невозможно. И это не преданье глубокой старины, а исторический факт — я видел договор своими глазами много раз; в день Умиротворения дьявола праздничное шествие является с ним к мосту; за десять грошей каждый мог взглянуть на него и к тому же получить отпущение тридцати трех грехов — жизнь тогда была легче, чем нынче, грехи отпускались почти задаром, и все, кроме нищих, могли позволить себе грешить. Хорошее было время, но оно миновало, и, как говорят, навсегда.

Так вот, дьявол вставил слово «христианин» в договор, и тогда настоятель заявил, что мост ему не к спеху, но вскоре он назначит срок — может быть, через неделю. А в монастыре в то время один старый монах лежал на смертном одре, и настоятель приказал не спускать со старика глаз и тотчас доложить, когда тот приготовится отойти в мир иной. Ближе к полуночи 9 декабря настоятелю доложили, что старик кончается; настоятель призвал к себе дьявола, и строительство моста началось. Всю ночь настоятель и братия не смыкали глаз — молились,

чтоб господь дал силы умирающему подняться и пройти по мосту на рассвете — не более не менее. Молитва была услышана и вызвала такое волнение в раю, что вся святая рать поднялась до рассвета и устремилась к мосту, — сонмы и сонмы ангелов заволокли все небо; а умирающий монах, едва волоча ноги, напрягая последние силы, перешел мост и упал бездыханный перед дьяволом, уже потянувшимся за своей добычей; но только душа монаха отлетела, ангелы скользнули вниз, подхватили ее и унесли в рай, осыпая дьявола насмешками, а ему осталось лишь брненное тело. Дьявол очень обозлился и обвинил настоятеля в обмане.

— Это не христианин! — бесновался он.

— Нет христианин, мертвый христианин, — уверял его настоятель.

Потом настоятель и монахи устроили целое шутовское представление, одна церемония сменяла другую. Они притворялись, будто хотят умиротворить дьявола, склонить его к примирению, а на деле насмеялись над ним, распалили его злобу пуще прежнего. Наконец, дьявол призвал самые страшные проклятия на головы монахов, а они продолжали смеяться над ним. Тогда он вызвал черную бурю с громом, молниями, шквалистым ветром и улетел под ее прикрытием, но по пути зацепил острием хвоста замковый камень свода и вырвал его из кладки; так он и лежит на земле вот уже несколько столетий — зримое доказательство проделки дьявола. Я видел его тысячу раз. Такие вещи говорят сами за себя убедительней летописи: ведь в летопись может вкрасться и ложь, если, конечно, ее писал не священник. А шутовское Умиротворение празднуется с тех пор и поныне 9 декабря в память о благословенном озарении настоятеля, спасшего христианскую душу от ненавистного врага человечества.

В нашем приходе были священники, чем-то выгодно отличавшиеся от отца Адольфа — ведь и он не без греха, но ни один из них не внушал прихожанам такого глубокого почтения. А уважали отца Адольфа за то, что он совершенно не боялся дьявола. Он — единственный из всех известных мне христиан, про кого это можно сказать наверняка. Потому-то священник и держал прихожан в благоговейном страхе; они полагали, что отец Адольф наделен сверхъестественной силой, иначе откуда берется такая смелость и самоуверенность? Люди осуждают дьявола гневно, но сдержанно, без грубых нападок; отец Адольф взял с ним совсем другой тон — он обзывал дьявола самыми оскорбительными словами, какие приходили на ум, и слушатели невольно содрогались. А порой откровенно глумился над дьяволом, и тогда прихожане, поспешно перекрестившись, уходили подальше, опасаясь, как бы хулиТЕЛЬ не накликать на них беду. Оно и понятно, ведь дьявол, хоть и падший, но ангел, про него написано в Библии, а священные имена нельзя произносить всуе, не то навлечешь на себя божью кару.

Отец Адольф и вправду не раз встречался с дьяволом лицом к лицу и вызывал его померяться силой. Это знали все. От самого отца Адольфа. Он не делал из этого тайны и говорил о своих встречах с дьяволом во всеуслышание. * И тому, что это чистая правда, имелось, по крайней мере, одно доказательство: как-то раз, поссорившись с дьяволом, отец Адольф бесстрашно запустил в него чернильницей, и на стене кабинета, где она ударилась о стенку и разбилась [*Этот поступок приписывают Мартину Лютеру.*], до сих пор сохранилось порыжевшее пятно.

Но больше всех мы любили и жалели другого священника — отца Питера. Епископ лишил его прихода за то, что он как-то сказал, беседуя с паствой, что бог — воплощенная доброта и он изыщет способ спасти всех своих несчастных земных детей. Это была страшная ересь, но ведь не имелось бесспорных доказательств, что отец Питер произнес эти слова: у него язык не повернулся бы сказать такое, он был добрый католик, правдивый и безропотный, и всегда проповедовал с кафедры лишь то, что требует церковь, и ничего другого. Но вот в чем загвоздка: его и не обвиняли в том, что он говорил с кафедры — тогда б его слышали все прихожане и могли подтвердить его слова, — нет, он якобы высказал свое мнение в частной беседе — такое

обвинение врагам легко сострять. Отец Питер его отрицал, но тщетно; отец Адольф хотел получить его приход и донес на отца Питера епископу — присягнул, что сам слышал, как отец Питер учил ереси свою племянницу, а он, отец Адольф, стоял под дверью и подслушивал, потому что всегда сомневался, так ли уж тверд в вере отец Питер, и считал своим долгом следить за ним в интересах церкви.

Гретхен, племянница священника, опровергла клевету и умоляла епископа поверить ей и не обрекать старика на нужду и позор, но епископ и слушать не хотел. Отец Адольф давно настраивал его против нашего священника, да к тому же епископ восхищался отцом Адольфом, благоговел перед ним: ведь он не устрасился самого дьявола и отважно вступил с ним в единоборство, и поэтому мнение отца Адольфа было всего превьше для епископа. Он лишил отца Питера прихода на неопределенный срок, но на крайнюю меру — отлучение от церкви — не решился: одного свидетельского показания было для нее недостаточно. И вот теперь отец Питер был два года не у дел, а его паства перешла к отцу Адольфу.

Для старого священника и Гретхен наступили тяжелые времена. Раньше они были всеобщими любимцами, но, разумеется, все изменилось, как только на них пала тень епископской немилости. Многие друзья вовсе перестали с ними зняться, другие держались холодно и отчужденно. Когда приключилась беда, Гретхен была прелестной восемнадцатилетней девушкой, самой умной и образованной в деревне. Она давала уроки игры на арфе, и заработанных денег ей вполне хватало на наряды и карманные расходы. Но ученицы — одна за другой — бросили учебу, а когда молодежь устраивала танцы и вечеринки, про Гретхен забывали. Молодые люди — все, кроме Вильгельма Мейдлинга, больше не заглядывали к ним на огонек, а Мейдлинг был безразличен Гретхен. Всеми брошенные, обреченные на бесчестие и одиночество, Гретхен и ее дядя загрустили, им казалось, что солнце навсегда ушло из их жизни. Миновал год, другой, а дела шли все хуже и хуже. Одежда изнасилась, да и прокормиться становилось все труднее и труднее. И наконец настал самый черный день. Соломон Айзеке, ссужавший им деньги под залог дома, предупредил, что завтра лишит их права выкупа.

Деревенская жизнь была знакома мне не понаслышке, но вот уже год, как я покинул деревню и с головой ушел в изучение ремесла. Устроился я скорей необычно, чем хорошо. Я упоминал ранее замок Розенфельд и высокую отвесную гору над рекой. Так вот, вдоль гребня этой горы возвышалась громада другого замка с такими же башнями и бастионами; прекрасный, величественный, увитый диким виноградом, он разрушался на глазах, превращаясь в развалины. Знаменитый род, владевший замком, чьим родовым гнездом он был в течение четырех или пяти столетий, вымер, и уже столетие, как в замке не живут потомки славного рода. Но старый замок стоит непоколебимо, и большая часть его все еще пригодна для жилья. Внутри разрушительное действие времени и небрежения не столь очевидно, как снаружи. Просторные спальни, огромные коридоры, бальные залы, трапезные и залы для приемов пусты, затянуты паутиной и наводят уныние — это верно, но каменные стены и полы еще в сносном состоянии, и помещения сохраняют жилой вид. Кое-где еще стоит старинная полусгнившая мебель, и если пустые комнаты наводят уныние, то эта рухлядь — еще больше.

Но жизнь все же теплится в старом замке. Милостью князя, его нынешнего владельца, живущего по ту сторону реки, мой мастер и его домочадцы много лет занимают небольшой отсек, примыкающий к центральной части. Замок мог бы дать кров тысяче человек, и — сами понимаете — горстка его обитателей затерялась в дебрях замка, как ласточкино гнездо на утесе.

Мой мастер — печатник. Это новое ремесло, ему всего лишь тридцать-сорок лет, и в Австрии оно почти неизвестно. Мало кто в нашей богом забытой деревне видел печатный текст, мало кто представлял, что такое печатное ремесло, а уж тех, кто проявлял к нему любопытство или интерес, было и того меньше. И все же нам приходилось вести свое дело скрытно, с постоянной оглядкой на церковь. Она была против удешевления книг, ведь тогда ученье стало бы доступно всем без разбору. Сельчане относились к нашей работе безразлично, им не было до нее дела: мы не печатали легкого чтения, а в серьезных науках они не разбирались и мертвых языков не знали.

Мы жили одной разнородной семьей. Мой мастер и хозяин Генрих Штейн, дородный мужчина, держался степенно, осанисто; лицо у него было крупное, благодушное, глаза — спокойные, задумчивые; такого не просто вывести из себя. Облысевшую голову его обрамляли седые шелковистые волосы. Он был всегда чисто выбрит, одет опрятно и добротнo, хоть и не богато. Ученый, мечтатель, мыслитель, Генрих Штейн больше всего на свете любил учиться, и, будь на то божья воля, он бы день и ночь сидел, упоенно погружившись в свои книги, не замечая окружающих. Выглядел мастер молодо, несмотря на седину, а было ему пятьдесят пять-пятьдесят шесть лет.

Большую часть его окружения являла собою жена. Она была пожилая женщина, высокая, сухопарая, плоскогрудая, с хорошо подвешенным языком и дьявольски неуживчивым нравом, к тому же набожная сверх меры, если учесть, о чем она молилась. Фрау Штейн жаждала денег и свято веровала в то, что где-то в глубоких тайниках замка спрятаны сокровища, вечной суетой из-за этих сокровищ и наставлением на путь истинный грешников, если таковые попадались, она заполняла время, спасая себя от скуки, а свою душу от плесени. О сокровищах, таящихся в замке, говорили старинные легенды и Валтасар Хофман.

Он явился к нам издалека с репутацией великого астролога и тщательно скрывал ее ото всех за пределами замка, ибо не больше других стремился попасть на костер инквизиции. Валтасар Хофман жил на хозяйских харчах и за скромное вознаграждение искал сокровища по расположению созвездий. Работа была нетрудная. Даже если созвездия что-то утаивали,

Валтасар Хофман мог не беспокоиться за свое место: его наняла фрау Штейн, и вера хозяйки в него, как и все ее воззрения, была непоколебима. В замке астролог чувствовал себя в безопасности, держался очень важно и одевался, как подобает цыгану-предсказателю или магу: в черный бархат, усыпанный серебряными звездами, лунами, кометами и прочими символами колдовского ремесла, а на голове носил высоченный колпак с теми же сверкающими знаками. Покидая замок, он с похвальным благоразумием оставлял свой рабочий костюм дома и так искусно поддельвался под христианина, что сам святой Петр без промедления распахнул бы перед ним ворота рая да еще предложил бы какое-нибудь угощение. Разумеется, мы все испытывали перед астрологом малодушный страх — именно страх, хоть Эрнест Вассерман и похвалялся, что не боится мага. Вассерман не заявлял об этом во всеуслышание — нет, болтать он любит, но при всем при том не теряет здравомыслия и всегда выбирает нужное место для таких разговоров. Послушать его, так он и привидений не боится, больше того — не верит в них, точнее, говорит, что не верит. А на самом деле он любую глупость скажет, лишь бы обратить на себя внимание.

Но вернемся к фрау Штейн. Дьявол во плоти, она была второй женой мастера, а раньше звалась фрау Фогель. Вдова Фогель привела в дом ребенка от первого брака, нынешнюю девицу семнадцати лет, мучившую всех, как волдырь на пятке. Это было второе издание мамыши — те же гранки, не просмотренные, не исправленные, полные перевернутых букв, неправильно набранного шрифта — «пропуски и дублиеты», как говорят печатники, или, одним словом, — «сыпь» [*Груда смешанного шрифта* .], если метить не в бровь, а в глаз и при этом не грешить против истины. Впрочем, именно в этом случае было бы простительно и погрешить, ибо дочка фрау Штейн передергивала факты, не боясь греха, когда вздумается.

— Дай ей факт величиною в строчку, — говорил Мозес, — не успеешь и глазом моргнуть, как она всадит его туда, где и четыре литеры задыхаются от тесноты, — всадит, даже если ей придется орудовать молотком.

Здорово подмечено, точь-в-точь хозяйская дочка! Уж он-то за словом в карман не лез, этот Мозес, злоязычный, что наш дьявол в юбке, но яркий как светлячок, сверкавший остроумием неожиданно, под настроение. У него был особый талант вызывать к себе ненависть, и он платил за нее сторицей. Хозяйская дочка носила имя, данное ей при рождении, — Мария Фогель: так пожелали мать и она сама. Обе чванились этим именем без всяких на то оснований, если не считать тех, что время от времени выдумывали сами. По словам Мозеса, выходило, что некоторые из этих Фогелей славны уж тем, что избежали виселицы, впрочем, и остальные печатники не принимали всерьез похвал, расточаемых Фогелям женой мастера и ее дочерью. Мария, живая, бойкая на язык девица, была хорошо сложена, но красотой не отличалась. Что в ней привлекало, так это глаза: они всегда горели огнем и в зависимости от расположения духа мерцали опалом, светились, как у лисицы, полыхали адским пламенем. Страх был ей неведом. Мария не боялась ничего, кроме привидений, Сатаны, священника и мага, а в темноте боялась еще бога и молнии — как бы та не настигла ее за богохульными речами, не дав сроку произнести все «аве», необходимые для расплаты со всевышним. Мария презирала Маргет Реген, племянницу мастера, и фрау Реген, его несчастную сестру, прикованную к постели тяжким недугом, вдову, целиком зависимую от мастера. Мария любила Густава Фишера, высокого белокурого красавца, работавшего по найму, а все остальные были ей, по-моему, одинаково ненавистны. Добродушный Густав не отвечал ей взаимностью.

Маргет Реген была ровесницей Марии. Гибкая, грациозная, подвижная, как рыбка, голубоглазая и белокурая, она отличалась кротким нравом, мягкими манерами, была наивна и трепетна, нежна и прекрасна, словно чудное виденье, достойное поклонения и обожания. В этом людском скопище ей было не место. Она чувствовала себя котенком в зверинце.

Маргет была вторым изданием своей матери в молодости, но из нерассыпанного набора, не требующего исправления, как говорят печатники. Бедная безответная мать! Она лежала частично парализованная с тех пор, как ее брат, мой мастер, привез ее, очаровательную молодую вдову с ребенком, пятнадцать лет тому назад. Фрау Реген и ее дочь окружили лаской и заботой, они позабыли про свою нищету и никогда не чувствовали себя бедными родственниками. Их счастье длилось три года. Потом в доме появилась новая жена с пятилетним чадом, и все переменялось. Новой жене так и не удалось вытравить из сердца мастера любовь к сестре, не удалось и выгнать ее из дому, зато удалось другое. Как только она приучила мужа к упряжке, он, по настоянию жены, стал реже навещать сестру и проводил у нее все меньше времени. А фрау Штейн сама часто забегала к вдове — «покуражиться», как она выражалась.

Членом семьи была и старая Катрина, повариха и экономка. Три или четыре поколения ее предков служили предкам мастера. Катрине было лет шестьдесят, и она верно служила мастеру с тех пор, как маленькой девчонкой нянчила его, спеленутого младенца. Катрина, шести футов ростом, прямая, как жердь, с солдатской выправкой и походкой, держалась независимо и властно, а если чего и боялась, так только нечистой силы. Но Катрина верила, что может одолеть и любую нечисть, и сочла бы искус за честь для себя. Катрина была предана хозяину всей душой, но ее преданность распространялась лишь на «семью» — мастера, его сестру и Маргет. Фрау Фогель и Марию она считала чужаками, вторгшимися в чужой дом, и говорила об этом не таясь.

Под началом у Катрины были две рослые служанки, Сара и Байка (прозвище), слуга Якоб и грузчик Фриц. Дальше шли мы, печатники:

Адам Бинкс, шестидесяти лет, ученый бакалавр, корректор, бедный, разочарованный, угрюмый;

Ганс Катценъямер, тридцати шести лет, печатник, здоровенный веснушчатый рыжий грубиян; в пьяном виде драчлив. Пьян всегда, когда есть возможность выпить;

Мозес Хаас, двадцати восьми лет, печатник, впередсмотрящий, но только для себя, любитель говорить колкости в глаза и за глаза, с какой стороны ни глянь, — неприятный человек;

Барти Лангбейн, пятнадцати лет, калека, мальчик на побегушках, ласковый, веселый, играет на скрипке;

Эрнест Вассерман, семнадцати лет, подмастерье, хвостун и злюка, отвратительный трус и лжец, жестокий предатель, строящий козни за спиной у других; они с Мозесом испытывают почти нежные чувства друг к другу, и немудрено: у них есть общие черты, и далеко не лучшие;

Густав Фишер, двадцати семи лет, печатник. Высокий, ладный мускулистый парень; не робкого десятка, но умеет владеть собой, добрый и справедливый. Нрав у Фишера такой, что его трудно сразу чем-нибудь зажечь, но уж если он загорелся, можете быть спокойны — не подведет. Густав здесь тоже не ко двору, как и Маргет, он лучше всех и заслуживает лучшего общества.

И, наконец, Август Фельднер, шестнадцати лет, подмастерье. Это — я.

Житье в замке имело и свои преимущества, среди них — обилие топлива и простор. Простору было хоть отбавляй. Каждый имел свою комнату, большую или маленькую — на выбор, и по желанию всегда можно было перебраться в другую. Под кухню мы использовали обширное помещение над массивными мрачными воротами замка, откуда открывался вид на поросшие лесом кручи и уходящую вдаль равнину.

Кухня соседствовала с залом-трапезной; здесь мы обедали, пили вино, ругались — словом, зал был общей семейной комнатой. Огромный камин, по обе стороны которого возвышались колонны с канелюрами, был облицован до самого потолка гранитом, богато украшенным орнаментом. Когда в камине горел целый воз дров, а снаружи мела и завывала пурга, в зале было уютно, все располагало к довольству, покою и словесной перепалке. Особенно после ужина, когда рабочий день кончался. В этой компании обычно спать рано не ложились.

Штейны занимали апартаменты к востоку от трапезной по тому же фасаду; в комнатах к западу от трапезной, за кухней, жила фрау Реген с Маргет. Все остальные домочадцы расположились на том же этаже, но по другую сторону большого внутреннего двора — с северного фасада замка, высившегося над обрывом и рекой.

Типография была запрятана наверху, в круглой башне. Гостей здесь не ждали, и если бы кто из посторонних решил пробраться в типографию без проводника, он бы где-нибудь на полпути отложил свой визит до другого раза.

Однажды морозным зимним днем, когда обед подходил к концу, в дверях появился жалкий парнишка лет шестнадцати-семнадцати на вид и замер, бедняга, не решаясь войти. Одежда его, грубая и старая, была местами порвана и припорошена снегом, на ногах — обмотки, перевязанные бечевками. Словесная война тотчас кончилась, все глаза обратились к пришельцу. Мастер, Маргет, Густав Фишер и Барти Лангбейн смотрели на него с сочувствием и жалостью, фрау Штейн и остальные — враждебно и презрительно.

— Что тебе здесь нужно? — спросила фрау Штейн резким голосом.

Парнишка вздрогнул, как от удара. Он не поднял головы и, уставившись в пол, застенчиво теребил в руках некое подобие шапки.

— Я одинок, милостивая леди, и очень, очень голоден, — произнес он смиренно.

— Ах, ты очень голоден, — передразнила его хозяйка. — А кто тебя сюда звал? Как ты попал в замок? Убирайся вон!

Фрау Штейн приподнялась, будто собираясь вытолкать незваного гостя. В тот же самый миг вскочила Маргет с тарелкой в руках и обратилась к хозяйке с мольбой в голосе:

— Можно, я отдам ему?

— Нет! Сядь на свое место! — приказала фрау Штейн. Мастер, пожалев парнишку, хотел, видно, вступить за него, но, обескураженный этой сценой, так ничего и не сказал. Тем временем из кухни явилась старая Катрина и остановилась в дверях, заполнив весь дверной проем. Она тут же разобралась, что к чему, и только парнишка, ссутулившись, повернул назад, Катрина окликнула его:

— Не уходи, детка, на кухне для тебя найдется место, и еды там хватит.

— Закрой рот, дерзкая служанка, не лезь не в свое дело, — завизжала фрау Штейн, обернувшись к Катрине.

Та, видя, что бедный парнишка боится и шаг сделать, сама направилась к нему, не обращая внимания на хозяйку.

— Прикажи ей, Генрих Штейн! Неужели ты допустишь, чтоб служанка не подчинялась

твоей собственной жене?

— Впервой, что ли? — пробурчал мастер, отнюдь не огорченный таким поворотом событий.

Катрина как ни в чем не бывало прошла мимо хозяйки,⁴ взяла парнишку за руку и повела в свою крепость. На пороге кухни она обернулась и сказала:

— Кому нужен этот мальчик, пусть приходит за ним ко мне, вот так-то!

По— видимому, жаждущих заполучить прищельца такой ценой не нашлось, поэтому никто не пошел за Катриной. Но разговор о нем начался в тот же миг. Фрау Штейн пожелала, чтоб оборванца выставили и как можно скорее; так уж и быть, пусть его покормят, если он и впрямь голоден, как говорит, но это, конечно, ложь: у парня лживый взгляд, ни о каком приюте для него не может быть и речи. Неужели не ясно, что он -вор и убийца?

— Ты согласна, Мария?

Мария, разумеется, была согласна, и тогда фрау спросила, что об этом думают остальные. Ответы последовали незамедлительно — мастер, Маргет и Густав Фишер не согласились с хозяйкой, все остальные взяли ее сторону, и война началась. По всему было видно, что терпение мастера иссякает. Обычно, когда у него на лице появлялось такое выражение, мастер стоял на своем. Вот и сейчас он вмешался в спор.

— Хватит! — заявил он твердо. — Такой шум подняли из-за пустяков! Если парню не везет, это вовсе не значит, что он плохой. А если даже плохой, что тут такого? У плохого живот подводит от голода так же, как у хорошего, а голодного надо накормить, усталому дать кров. Парнишка выбился из сил — и слепому видно. Если ему нужна крыша над головой, в этом нет никакого преступления. Пусть только попросит, уж я ему не откажу; плохой он или хороший, место здесь всем найдется.

Итак, мастер положил конец скандалу. Фрау Штейн открыла было рот, чтобы начать его снова, но тут Катрина привела парнишку, поставила его перед мастером и приободрила:

— Не бойся, хозяин — справедливый человек. А ты, мастер, поверь мне: хороший он парень, хоть и гол как сокол. Невезучий, вот и все тут. Ты посмотри ему в лицо, загляни в глаза. Да разве он похож на попрошайку? Парень работать хочет!

— Работать, — фыркнула фрау Штейн, — этот бродяжка?

— Работать, — фыркнули ее сторонники.

Но мастер смотрел на юношу с интересом и, пожалуй, с одобрением.

— Работать хочешь? — спросил он. — А какая работа тебе по нраву?

— Любая, сэр, — нетерпеливо вставила Катрина, — и никакой платы он не потребует.

— Как же так — никакой платы?

— Никакой, только пропитание да крыша над головой ему и нужны, бедняге.

— Скажешь, и одежды ему не надо?

— Уж босым да нагим он ходить не станет. Коли вы позволите ему остаться, за одежду я заплачу из своего жалованья.

Юноша с благодарностью взглянул на обретенного им могущественного друга, и глаза его засветились нежностью; мастер это заметил.

— Так ты взялся бы за черную работу — тяжелую, нудную?

— Да, сэр, конечно. Поручите мне любое дело, я сильный.

— Дрова таскать наверх можешь?

— Да, сэр.

— Скрести пол, как служанки, разводить огонь в каминах, носить воду в комнаты, колоть

дрова? А еще — помогать по кухне и со стиркой? Присматривать за собакой?

— Да, сэр, я все могу, любое дело давайте!

— Погоди Генрих Штейн! Если ты собираешься поселять здесь всякий сброд без моего разрешения, ты глубоко ошиба...

— Замолчи! — оборвал ее муж. — Так вот, все вы тут высказались об этом парне, но один голос в расчет не приняли. А для меня он значит больше, чем все остальные. Я бы взял новичка с испытательным сроком, учитывая лишь этот голос. Вот вам мое слово. Можете обсуждать что-нибудь другое, с этим делом решено. Забирай парня, Катрина, дай ему комнату, пусть отдыхает.

Гордясь своей победой, Катрина еще выше подняла голову. Глаза юноши снова засветились благодарностью, и он сказал:

— Я бы хотел приступить к работе немедленно, сэр.

Не дав мужу и слова молвить, фрау Штейн вмешалась в разговор:

— Хотела бы я знать, чей же это голос мы не учли? Я вроде не туга на ухо, а вот не слышала, кто подал за него голос?

— Собака.

На всех лицах выразилось изумление. Но что правда, то правда: собака не шевельнулась, когда явился этот парень. Никто, кроме мастера, не заметил странного поведения собаки. Впервые злющий, как дьявол, пес встретил чужака с вежливым безразличием. Пес сидел на цепи в углу и мирно глодал кость, зажатую между лапами, даже не рычал, как обычно. В глазах фрау Штейн загорелся злорадный огонек, и она крикнула:

— Эй, ты! Хочешь работы? Есть работа для тебя, как по заказу. Иди, выгуливай пса!

Даже вовсе очерстевшие сердца дрогнули от такой жестокости, и ужас отразился на лицах, когда ничего не подозревавший незнакомец проявил готовность выполнить приказание хозяйки.

— Стой! — крикнул мастер.

Катрина, вспыхнув от возмущения, кинулась к юноше и удержала его.

— Позор! — только и сказала она.

Мастер, не сдерживая больше своего гнева, задал жене такую взбучку, что она онемела от изумления. Потом он обратился к незнакомцу:

— Можешь отдохнуть, но если хочешь работать, Катрина тебе дело найдет. Как тебя зовут?

— № 44, Новая Серия 864 962, — спокойно сказал юноша.

У присутствующих глаза на лоб полезли. Еще бы! Мастер решил, что он ослышался, и повторил свой вопрос. — № 44,-Новая Серия 864962, — столь же невозмутимо ответил юноша

— Черт знает что за имя! — воскликнул Ганс Катценъямер, возводя глаза к небу.

— Похоже на тюремный номер, — высказал предположение Мозес Хаас, ощупывая незнакомца крысиными глазками, теребя и подкручивая жиденькие усики, что у него было признаком глубокого раздумья.

— Странное имя, — протянул мастер с едва уловимой ноткой сомнения в голосе. — Кто тебя так назвал?

— Не знаю, сэр, — спокойно отвечал Сорок четвертый, — меня всегда так звали.

Мастер воздержался от дальнейших расспросов, опасаясь, очевидно, что ступил на тонкий лед, но Мария Фогель прощепетала:

— Ты был в тюрьме?

— Довольно об этом! — вскипел мастер. — Можешь не отвечать, если не хочешь, мой мальчик.

Он сделал паузу в надежде... Но Сорок четвертый не воспользовался случаем сказать что-нибудь в свою пользу. Он будто прирос к месту и не произнес ни слова. Насмешливые улыбки замелькали на лицах сидевших за столом, и мастер с трудом скрыл разочарование.

— Забирай его, Катрина, — сказал он как можно дружелюбнее, но в его голосе чувствовался легкий холодок, порадовавший недоброжелателей.

Катрина увела юношу.

Благоразумно опасаясь новой вспышки, никто не рискнул высказаться вслух, но едва слышный шепоток пополз вдоль стола, и суть его сводилась к следующему: промолчал — значит, признался, парень наверняка «тюремная птаха».

Плачевно начиналась для Сорок четвертого жизнь в замке. Все это сознавали. Маргет обеспокоенно спросила Густава Фишера, верит ли он в то, что говорят про новичка.

— Видите ли, фрейлейн, парень мог опровергнуть обвинение, но он промолчал, — с сожалением ответил Фишер.

— Пусть так, но какое у него славное лицо — честное, открытое и к тому же красивое.

— Верно, то-то и удивительно! Но он ничего не отрицал — вот в чем загвоздка. По правде говоря, он даже не проявил интереса к разговору.

— Знаю. Все это непонятно. А вы как считаете?

— Да он, похоже, глуп, раз не понимает, как это серьезно. Но лицо у него не глупое. И все-таки его молчание в такой решающий момент — косвенное доказательство, что он был в тюрьме. И вместе с тем, преступник с таким лицом — непостижимо! Не могу помочь вам, фрейлейн, разгадать его загадку. Орешек мне не по зубам.

Явился Сорок четвертый, согнувшись под тяжестью большой вязанки дров. Он кинул их в ящик и тут же ушел. Вскоре он появился опять с такой же ношей, ушел, и так несколько раз.

— Послушай, парень, — сказал мастер, поднимаясь и выходя из-за стола, — хватит на сегодня, никто не требует, чтоб ты так надрывался.

— Ну еще вязанку, всего одну, — сказал юноша, будто просил об одолжении.

— Ну, разве только одну, последнюю, — милостиво разрешил мастер и вышел из комнаты.

Сорок четвертый принес последнюю вязанку и молча ожидал распоряжений. Распоряжений не последовало, и тогда он сам спросил, что еще надо сделать. Фрау Штейн не упустила удобный случай.

— Погуляй с собакой! — приказала она, и в ее желтых глазах сверкнула злобная радость.

Тут уж на нее ополчились и друзья, и враги. Все ринулись спасать Сорок четвертого, но было слишком поздно: он стоял на коленях и отвязывал цепь, почти касаясь лицом собачьей морды. Все оравой кинулись наутек, опасаясь спущенной с цепи собаки, но юноша поднялся и направился к двери с цепью в руке, а довольный пес шел за ним следом.

Хотите знать, вызвало ли это смятение? Еще какое! Минуты две вся братия молчала, будто лишившись дара речи, и, если глаза меня не обманывали, дрожа и бледнея, потом все разом принялись обсуждать происшествие. Это было бурное обсуждение, большинство изумлялось: невероятно, ни за что бы не поверили, если б не видели его воочию. В голосах Маргет, Фишера и Барти звучал восторг. Фрау Штейн, Катценъямер и Бинкс перемежали возгласы удивления проклятиями: они проклинали дьявола, вселившегося в Тюремную Птаху. По их мнению, чужак, дотронувшись до злющего пса, конечно, остался бы на месте, но в расчлененном виде; таким образом, над домом теперь нависла большая угроза, чем прежде, когда в нем поселился вор. Трое из присутствующих молчали; Эрнест и Мозес своей циничной повадкой и язвительными усмешками показывали, что ничего особенного не произошло и нет причин поднимать такой шум из-за пустяка; молчание третьего, мага, было столь многозначительно и весомо, что наконец привлекло всеобщее внимание. Догадка забрезжила на лицах некоторых домочадцев, они с благоговейным восхищением перевели взгляд на великого человека, и Мария Фогель произнесла с ликованием первооткрывателя:

— Вот он перед вами и пусть попробует опровергнуть мои слова! Кто, как не он, наделил Сорок четвертого сверхъестественной силой, кто заколдовал его? Я и раньше подозревала, что он — виновник, а теперь знаю наверняка. Ага, попались, теперь не отвертитесь, признавайтесь же, чудо природы!

Маг жеманно улыбнулся деланно-виноватой улыбкой, и в тот же миг послышались голоса:

— Попался, попался! Хочет уклониться, да не может! Признайтесь, ну сделайте милость, признайтесь!

Фрау Штейн и Мария ухватили мага за широченные рукава и, с обожанием заглядывая ему в глаза, пытались удержать его, но Балтасар Хофман мягко высвободился и выбежал из комнаты, смущенный и растерянный. Это и решило дело. Бегство мага было красноречивее слов, и сомневающихся не осталось; похвалы, расточавшиеся магу, ублаготворили бы и бога. Наш маг и астролог почитался великим и раньше, перед ним благоговели и раньше, но это было ничто по сравнению с нынешней репутацией небожителя. Фрау Штейн витала в облаках. По ее словам, в Европе не наблюдалось еще такого поразительного проявления магической силы и тот, кто не верит, что маг может совершить любое чудо, просто дурак. Все согласились, что это — святая правда, и, уходя с другими дамами, фрау Штейн заявила, что отныне астролог Балтасар Хофман займет ее место за столом, а она сама — более скромное по правую руку от него, уж оно-то ей положено по праву.

Завистливому змею Эрнесту Вассерману такие речи были точно соль на рану: он не выносил, когда хвалили других, и прикидывал, как бы сменить тему разговора. Тут Фишер сыграл ему на руку, заметив, что Тюремная Птаху, видно, очень силен: столько дров перетаскал и все ему нипочем; трудно придется любому парню, его сверстнику, вздумай он померяться с ним силой в кулачном бою.

— Подумаешь! — фыркнул Эрнест. — Я его сверстник. Держу пари, он пожалеет, если вздумает тягаться со мной.

Мозес не упустил удобный случай.

— Остерегись! — предупредил он Эрнеста, изображая участие. — Подумай о своей матери, он же тебя изувечит.

— Обо мне не беспокойся, Мозес Хаас, пусть он остережется связываться со мной, вот так-то!

— Ох, — Мозес с притворным облегчением перевел дух, — я опасался, что задираться будешь ты. Значит, ему ничего не угрожает, — и, помедлив, как бы вскользь, добавил: — И тебе тоже.

Стрела попала в цель.

— Ты думаешь, я его боюсь? Да я с полсотней таких, как он, справлюсь. Я ему покажу!

Вернулся Сорок четвертый с собакой. Пока он сажал ее на цепь, Эрнест бочком отходил к двери.

— Детка хочет бай-бай, — просюсюкал Мозес, — спокойной ночи. Я-то думал, что ты поколотишь Тюремную Птаху.

— Сегодня? Он устал и не в форме. Я бы от стыда сгорел, если...

— Ха-ха-ха! — захохотал здоровенный бык Ганс Катценъямер, — вы только послушайте этого благородного труса!

Насмешки, колкости посыпались на Эрнеста градом, и, задетый за живое, он отбросил всякое благоразумие, решительно подошел к Тюремной Птахе, встал в боевую позицию и крикнул:

— Готовься, принимай бой, как мужчина, защищайся!

— От кого защищаться? — недоумевал юноша.

— От меня! Слышишь?

— От тебя? Но я тебя не обижал. Почему ты хочешь драться?

Зрители были возмущены и разочарованы. Это прибавило Эрнесту смелости.

— Будто не понимаешь! Драться ты со мной должен, ясно? — петушился он.

— Но зачем мне с тобой драться? Я ничего против тебя не имею.

— Боишься сделать мне больно? — издевался Эрнест. — Так, что ли?

— Нет, но зачем я стану причинять тебе боль? — простодушно ответил Сорок четвертый. — Я не хочу обижать тебя и не обижу.

— Ну, спасибо, добрый какой нашелся! Получай!

Но удара не последовало. Незнакомец схватил Эрнеста за руки, крепко стиснув ему запястья. Наш подмастерье вырывался, пытался высвободить руки, потел, ругался, а мужчины, стоявшие вокруг, хохотали и издевались над Эрнестом, награждая его обидными кличками. Сорок четвертый держал Эрнеста, словно в тисках, и, похоже, это ему ничего не стоило: он не пыхтел, не отдувался, а Эрнест хватал ртом воздух, как рыба, и, вконец выдохшись, не в силах продолжать борьбу, проворчал:

— Сдаюсь, отпусти.

Сорок четвертый тотчас отпустил его и участливо предложил:

— Хочешь, я разотру тебе руки, и боль пройдет?

— Пошел к черту! — огрызнулся Эрнест и побрел прочь, бурча себе под нос, что он-де расквитается с Тюремной Птахой, тот больше его врасплох не застанет, пусть заречется к нему приставать, а то узнает, что не на того напал. Продолжая бурчать, Эрнест ретировался под насмешливые выкрики печатников, а Сорок четвертый все стоял на том же месте с недоуменным видом: происшествие казалось ему неразрешимой загадкой.

Обстоятельства складывались против бедного бездомного парня. Он промолчал, когда надо было доказать, что он вовсе не «тюремная птаха», и это навредило ему. Обидное прозвище пристало прочно. Мужчины считали его слюнтяем: пощадил Эрнеста Вассермана, а мог бы вздуть его как следует. В душе я очень жалел Сорок четвертого, хотел с ним подружиться, но сказать ему об этом не отважился: как и большинство людей, я не решался жить своим умом, если мои желания шли вразрез с волей других. Даже лучшие из нас поступают, как все, а не по справедливости — я давно понял эту истину. Одна Катрина оставалась верным и бесстрашным другом Сорок четвертому. Мастер был добр к юноше, защищал его от обид, но дальше этого не шел, если его не злили, разумеется, — встречное течение было слишком сильным.

Что касается одежды, Катрина сдержала свое слово. Просидела до поздней ночи, но сшила Сорок четвертому костюм — грубый и дешевый, но ладный. Катрина же и обула его. И она была вознаграждена за свои труды: сразу выявилось, как юноша грациозен и красив, какие у него изумительные глаза. Сердце старой женщины наполнилось гордостью. Она привязывалась к юноше все больше и больше. Исконная жажда любви была удовлетворена, Катрина наконец обрела любимого ребенка, щедро платившего ей любовью за любовь, ведь она была для него солью земли.

Дни шли своей чередой, а все разговоры по-прежнему вертелись вокруг Сорок четвертого. С него не сводили глаз, дивились ему и его повадкам, но всеобщее внимание, видно, ничуть не смущало юношу: ему было все равно, что о нем думают и говорят. Его безразличие раздражало окружающих, но Сорок четвертый не обращал внимания и на это.

Самые хитроумные уловки рассердить его, вывести из себя ни к чему не приводили. Бруски, запущенные ему в голову или в спину, падали незамеченными на пол. Ему подставляли подножку, и, растянувшись под общий хохот, он поднимался и, не говоря ни слова, шел себе дальше. Случалось, Сорок четвертый притаскивал пару тяжелых ведер воды из колодца, преодолев два длинных лестничных пролета, и задиры обливали его ледяной водой, но он снова безропотно отправлялся к колодцу. Не раз в отсутствие мастера фрау Штейн заставляла парня ужинать в углу, с собакой, но Сорок четвертый не протестовал. Большую часть пакостей придумывали Мозес и Катценъямер, но чинил их, как правило, жалкий трус Эрнест.

Теперь вы можете представить себе мое положение. Подружись я с ним, меня бы тоже презирали и травили. Не все же такие смелые, как Катрина. Она частенько ловила Мозеса и Эрнеста на месте преступления — один строил козни, другой приводил его замысел в исполнение — и задавала им хорошую трепку, а однажды, когда в это дело вмешался Ганс Катценъямер, она колотила грубияна до тех пор, пока он не повалился на колени и не запросил пощады.

Работал Сорок четвертый, как дьявол, — от зари до зари. Тот, кто поднимался раньше всех, заставлял его за работой при свете фонаря; тот, кто ложился после всех, видел, что он работает далеко за полночь. Парень выполнял самую тяжелую черную работу, и если уставал, то не подавал и виду. Он был полон энергии и, казалось, испытывал особую радость, растрачивая свою удивительную, неиссякаемую силу.

С момента своего появления Сорок четвертый сильно укрепил репутацию нашего астролога и мага. Какую бы шутку ни отколол новичок, слава доставалась астрологу. Сначала он проявлял осторожность и, когда ему приписывали разные чудеса, предпочитал отмалчиваться, но в самом молчании было скорее признание своей причастности, нежели ее отрицание. Вскоре Валтасар Хофман освоился с новым положением, отказался от прежней политики и принимал славу мага

как должное. Как-то раз Сорок четвертый, к великому ужасу присутствующих, отвязал пса и спустил его с цепи со словами:

— Веди себя как следует, Феликс, никого не обижай!

— Не бойтесь, это мой маленький каприз, — произнес маг с милой улыбкой, — мой дух управляет псом, он никого не тронет.

Потрясенные домочадцы взирали на мага с обожанием и восхищением. Они целовали край полы его плаща и осыпали неслыханными похвалами.

— Поди поблагодари своего повелителя за великую честь, оказанную тебе, — приказал Сорок четвертый псу.

И тут произошло нечто невообразимое. Тупой, злобный пес, не обученный ни языку, ни правилам хорошего тона, ни религии, ни другому полезному предмету, не способный даже понять столь высокопарный слог, подошел к астрологу, поднялся на задние лапы, поджал передние и, благоговейно опустив голову, протявкали «Яп-яп, яп-яп, яп-яп!» со смиренным видом христианина, творящего молитву.

Когда пес опустил на все четыре лапы, юноша приказал:

— А теперь приветствуй повелителя и удаляйся, как с королевского приема.

Пес церемонно поклонился и, пятясь, отошел в свой угол. Прodelал он это, конечно, не очень грациозно, но весьма недурно для пса, совершенно неопытного в таких делах, понятия не имевшего о королях, ничего не смыслившего в придворном этикете.

Вы спросите, лишились ли домочадцы дара речи? Можете не сомневаться. Все повалились на колени перед магом — фрау Штейн, за ней остальные. Я видел это собственными глазами. Меня потрясло такое жалкое идолопоклонство и лицемерие, такое раболепие, но я тоже опустил на колени, чтоб не вызвать нарекания

Жизнь в замке становилась все интереснее. Через каждые два-три дня происходило что-нибудь удивительное; Сорок четвертый творил чудеса, и слава астролога росла не по дням, а по часам. Кто в душе не мечтает, чтоб ему завидовали? Пожалуй, каждый: человек счастлив, когда ему завидуют Валтасар Хофман был счастлив: никто не знал большей зависти ближних, маг был на седьмом небе от счастья.

Теперь я страстно хотел подружиться с Сорок четвертым. По правде говоря, ему тоже завидовали. Несмотря на унижения, оскорбления и травлю — завидовали. Ведь он был инструментом в руках могущественного, вселявшего во всех ужас мага, и кто бы взялся отрицать, что творить задуманные им чудеса под взглядами благоговейно затаивших дыхание людей — славное и завидное дело. Признаюсь, я был одним из этих завистников. И любой настоящий мальчишка на моем месте вел бы себя точно так же. Я очень хотел быть у всех на виду — чтоб мне дивились, чтоб обо мне говорили. Эрнест и Барти испытывали, конечно, те же чувства, но, как и я, скрывали свою зависть. Я старался попасться магу на глаза в надежде, что он и меня заставит творить чудеса, но мне не удалось привлечь его внимание. Он просто не замечал меня, когда замышлял новые чудеса. Наконец я придумал план, вполне осуществимый, как мне казалось. Я решил повидать Сорок четвертого наедине и открыть ему свою тайну — кто знает, вдруг он поможет, и мое желание исполнится? Когда вся братия легла спать, я проскользнул в его комнату и замер в ожидании хозяина. Сорок четвертый явился около двух ночи; увидев меня, он быстро поставил фонарь на стол, взял меня за руки, и такая радость озарила его лицо, что мне не пришлось ничего объяснять.

Сорок четвертый закрыл дверь, мы сели, и он начал разговор. Сказал, что рад моему приходу — это очень мило и великодушно с моей стороны, — что надеется найти во мне друга: он одинок и очень хочет с кем-нибудь сблизиться. Я смутился, мне стало стыдно, я почувствовал себя жалким и подлым обманщиком и почти собрался с духом открыть ему истинную цель своего прихода, низменную и эгоистичную. Но Сорок четвертый улыбнулся доброй располагающей улыбкой, похлопал меня по колену и произнес:

— Не беспокойся.

Что он имел в виду, я не понял, но его замечание меня озадачило; мне хотелось поддержать разговор, чтобы не выдать своего замешательства, но, как на зло, ничто, кроме погоды, не шло на ум, и я молчал.

— Она тебя волнует? — спросил Сорок четвертый.

— Кто — она?

— Погода.

И снова я был озадачен, вернее — потрясен. «Это сверхъестественно, — думал я, — это страшно, я его боюсь».

— И напрасно, — весело молвил Сорок четвертый, — не надо меня бояться.

Я поднялся, охваченный дрожью, и едва пролепетал:

— Я... мне что-то неможется, извини, я лучше пойду.

— О, не уходи, прошу тебя! — взмолился Сорок четвертый. — Побудь со мной. Хочешь, я помогу тебе, с радостью помогу?

— Ты такой добрый, такой славный, — растерянно бормотал я, — мне и самому хочется остаться, но лучше я зайду в другой раз. Я, понимаешь ли... похолодало, наверное, простыл немного. Пойду лягу, укурюсь потеплей, так скорее поправлюсь.

— При простуде выпить чего-нибудь горячего в сто раз лучше, уж поверь мне. Горячее питье — вот что тебе нужно! Ну, как?

— Может, и лучше, да где...

— Только скажи, что ты хочешь! — воскликнул Сорок четвертый, жаждавший мне помочь. — Горячий кларет, прямо с огня, пойдет?

— Еще бы! Но откуда...

— Вот, держи, пей, пока не остыл, только не обожгись. Простуду как рукой снимет.

Сорок четвертый протянул мне дымящийся кубок — красивый, покрытый тончайшей резьбой. Я принял его и ни жив ни мертв повалился на стул, кубок задрожал у меня в руке. Я все же глотнул вина — оно было восхитительно и совершенно непривычно на мой грубый вкус.

— Пей! — подбодрил меня Сорок четвертый. — Пей до дна, не бойся, вино живо поставит тебя на ноги. Впрочем, это не по-товарищески: я должен выпить вместе с тобой.

В мгновение ока в руке у него появился дымящийся кубок. Не успел я осушить свой, как он снова протянул мне полный и сердечно сказал:

— Пей, это только на пользу. Я вижу, тебе уж полегчало, верно?

«Полегчало, как бы не так, — подумал я про себя. — Согрелся, а душа в пятках».

Сорок четвертый добродушно рассмеялся.

— Поверь на слово, у тебя нет никаких оснований для страха. Даже под защитой моей доброй старой матушки Катрины ты бы не был в большей безопасности. Пей!

Я не мог устоять — не кларет, а настоящий нектар! Потягивал его с наслаждением, но страх и неловкость не проходили. Нет, мне не хотелось здесь оставаться: мало ли что случится?

Я заявил, что ухожу. Сорок четвертый не собирался ложиться — его уже ждали дела, и он предложил мне свою кровать. Меня кинуло в дрожь при одной мысли об этом, и я нашел отговорку — своя постель привычнее, а мне надо хорошо отоспаться. Сорок четвертый вышел проводить меня и несколько раз благодарил с самым серьезным видом за то, что я наведался к нему в гости; он великодушно не замечал ни моей бледности, ни дрожи и взял с меня слово, что я снова приду к нему нынче же ночью. В душе я решил, что скорей умру, нежели сдержу свое слово. На прощанье он дружески пожал мне руку, я с трясущимися коленками шагнул во мрак и тут же очутился в собственной постели — дверь комнаты закрыта, на столе мигает свечка и отраднй огонь полыхает в камине. Чудеса да и только! Как бы то ни было, я с наслаждением погрузился в сон; благородное вино слегка кружило голову, но последняя мысль, промелькнувшая в полузабытьи, отрезвила меня, как ушат холодной воды: а вдруг он подслушал мою мысль — скорей умру, нежели сдержу слово?

К своему удивлению, я поднялся бодрый, полный сил, когда меня разбудили на рассвете. Никакого похмелья!

Так это был сон, обрадовался я, хорошо бы он не вышел в руку!

Вскоре я увидел Сорок четвертого Он поднимался по лестнице с большой вязанкой дров.

— Придешь сегодня ночью? — спросил он с мольбой в голосе.

Я вздрогнул.

— Господи, так значит, это не сон?

— Нет, не сон. Жаль, если не придешь. Прекрасная была ночь, я тебе очень благодарен.

Сорок четвертый произнес это так трогательно, что сердце у меня дрогнуло, и сами собой вырвались слова:

— Приду, скорей умру, нежели отступлюсь от своего слова!

Сорок четвертый обрадовался, как ребенок.

— Та же фраза, но на сей раз мне она нравится больше, — молвил он и добавил, проявив предупредительность и деликатность: — В присутствии других обращай со мной, как прежде. Ты навредишь себе, если станешь выказывать мне дружеское расположение на людях. А я все понимаю и не обижусь.

— Ты славный парень, — ответил я, — преклоняюсь перед тобой. Если б я родился храбрецом, я бы бросил вызов им всем, но увы! Я не из храброго десятка.

Его большие глаза широко открылись от изумления.

— За что ты коришь себя? — недоуменно спросил Сорок четвертый. — Не ты себя создал, в чем же твоя вина?

Какая глубокая здравая мысль! Мне она и в голову не приходила, более того — я не слышал ее от умудренных ученостью людей, они никогда не высказывали ничего и вполнину столь разумного и неопровержимого. Тем удивительнее было услышать подобную истину от мальчишки, да еще бездомного бродяги. Я был озадачен, но подавил в себе желание тут же обратиться к нему с вопросом, рассудив, что смогу и без разрешения обсудить с кем-нибудь это дело, если захочу. Сорок четвертый весело глянул мне в глаза.

— Не сможешь, как ни старайся, — сказал он.

— Чего я не смогу?

— Ты никому не расскажешь о том, что произошло прошлой ночью.

— Почему?

— Я этого не хочу. А против моей воли ничего не случится. Я намерен исподволь посвящать тебя в различные тайны, и ты их сохранишь.

— Я, конечно, постараюсь.

— Попробуй нарушить мой запрет. Заметь, я не говорю: «Ты не должен разглашать тайну», я говорю: «Ты не сможешь».

— Тогда я и пробовать не стану. т ' ""~ Весело насвистывая, подошел Эрнест и, увидев Сорок

четвертого, закричал:

— Эй, убирай дрова с дороги, ленивый попрошайка!

У меня едва не сорвалось с языка самое обидное ругательство, какое я знал, но что-то заставило меня сдержаться. «Может, Сорок четвертый не одобряет моего намерения?» — подумал я, подтрунивая над собой Сорок четвертый обернулся и бросил через плечо:

— Ты прав, не одобряю.

Это было непостижимо, таинственно и захватывающе интересно. Я подумал: «Наверное, он прочел мои мысли о том, стоит ли рассказывать другим про то, что случилось прошлой ночью». И Сорок четвертый отозвался сверху:

— Прочел.

Завтрак близился к концу. За время трапезы мастер не произнес ни слова: похоже, что-то задумал. Обычно, когда у него на лице появлялось такое выражение, он взвешивал в уме важное и, возможно, рискованное решение и собирался с духом, чтобы высказать его и отстоять. Беседа не клеилась, всех разбирало любопытство, все ждали, что произойдет.

Сорок четвертый подбросил в огонь полено. Мастер окликнул юношу. Общее любопытство накалилось до предела, когда тот почтительно склонился перед хозяином.

— Сорок четвертый, я заметил... Кстати, я не ошибся, тебя и вправду так зовут?

Юноша кивнул и серьезно добавил:

— Новая Серия, 864 962.

— Не будем вдаваться в подробности, — проявил тактичность мастер, — это твое дело, и я полагаю, милосердия ради, нам не следует совать в него нос. Я вижу, ты проявляешь усердие и похвальное рвение в работе и за этот месяц вынес большие трудности с терпением, достойным подражания. Многого делает тебе честь, и я не знаю за тобой ничего дурного.

Сорок четвертый вежливо поклонился. Мастер взглянул на сидящих за столом, уловил недовольство на их лицах и продолжал:

— Ты заслужил дружбу, и не твоя вина, что в замке у тебя нет друзей — никого, кроме Катрины. Это несправедливо. Я сам буду тебе другом.

В глазах юноши вспыхнула радость. Мария и ее мать, вздернув головы, презрительно фыркнули. Остальные безмолвствовали.

— Ты достоин поощрения и ты его получишь! — заявил мастер. — Здесь и ныне я присваиваю тебе почетное звание подмастерья цеха печатников, самого высокого и благородного из всех ремесел, чье извечное предназначение — содействовать развитию и сохранению других ремесел.

Мастер поднялся и торжественно возложил руку на плечо юноше, как король, посвящающий в рыцари. Тут все печатники вскочили, взволнованные и оскорбленные, протестуя против поругания своей святыни; какого-то нищего бродягу без роду и племени допускали к воротам, открывающим доступ к благородным привилегиям и отличиям их свято чтимого великого цеха! Но мастер гневно заявил, что выгонит из дому любого, кто откроет рот, и приказал всем сесть; ворча и задыхаясь от злобы, печатники подчинились. Тогда и сам мастер опустил на стул и занялся новичком, удостоенным великой чести.

— Наше ремесло — одно из самых премудрых. Ты изучал латынь? — поинтересовался он.

— Нет, сэр.

Печатники тихо засмеялись.

— А греческий?

— Нет, сэр.

Снова смешок — и так после каждого ответа. Но Сорок четвертый не краснел, не смущался — напротив, он был вызывающе спокоен и безмятежно доволен собой. Мне было стыдно за него, и в то же время я ему сочувствовал: только теперь я понял, как сильно привязался к Сорок четвертому.

— Древнееврейский?

— Нет, сэр.

— Но какие-нибудь науки ты изучал? Математику? Астрологию? Астрономию? Химию? Медицину? Географию?

При упоминании каждой из наук юноша беспечно качал головой:

— Нет, сэр.

А под конец добавил:

— Ни одной из них я не изучал, сэр.

Печатники уже не старались подавить свое веселье, и раздражение, закипавшее в мастере, готово было вот-вот вылиться наружу. Мастер помолчал пару минут, сдерживая раздражение, потом спросил:

— Ты хоть чему-нибудь учился?

— Нет, сэр, — ответил Сорок четвертый с той же идиотской наивностью.

Затея мастера терпела поражение по всем статьям. Наступил критический момент. Рты недругов раскрылись, чтоб испустить торжествующий вопль, но мастер, побагровев от ярости, не растерялся, и голос его победно грянул:

— Клянусь всемогущим богом, я сам буду тебя учить!

Какое великодушие! Какая ошибка! Я едва сдержался, чтоб не крикнуть «Ура!» в честь благородного старого мастера. Мне следовало помалкивать. Я видел лица печатников из-за своего стола в углу, где сидели подмастерья, и понял, что мастер сделал ошибку. Я знал этих людей. Они могли снести многое, но на сей раз мастер, как говорится, хватил через край. Он покусился на святая святых — цеховые привилегии печатников, хранимые • как зеница ока, — их гордость и отраду, их сокровище, покусился на высокочтимую знатность и принизил их величие. Такого унижения печатники не простят никому. Они жаждут мщения и сумеют отомстить. Сцена, которую мы наблюдали, с первого взгляда могла показаться комичной, но это была трагедия. Поворотный пункт. Что еще ждет впереди? Прежде, когда разгорался спор, печатники шумели, ругались, ссорились, теперь же они были мрачнее тучи и не говорили ни слова. Дурная примета!

Мы, три скромных подмастерья, сидя за своим столиком, не сводили с них глаз. Барти был бледен и нездоров на вид. Эрнест ощупывал меня злыми глазами.

— Попался, — сказал он, — я застал тебя на лестнице за дружеской беседой с Тюремной Птахой. Можешь не отпираться, я тебя самолично видел.

У меня кровь застыла в жилах и мурашки поползли по спине. Я проклинал злосчастный случай, послуживший уликой. Как быть? Что еще можно сделать? Как доказать свою непричастность? Но я ничего не мог придумать, я будто онемел, слова не шли на ум, а глаза безжалостной твари так и буравили меня.

— Признавайся, ты друг этого скота! — злорадствовал Эрнест. — Попробуй доказать, что я не прав!

Да, попал в переplet! Эрнест наябедничает печатникам, и я сразу стану изгоем, они превратят мою жизнь в сущий кошмар! Я очень боялся печатников и лихорадочно соображал, как мне выпутаться, но положение казалось безвыходным; одно я знал наверняка: чтобы отвести от себя беду, надо собраться с духом и не позволить злобному зверю топтать себя. Уж его-то, во всяком случае, я не боялся, даже моя робость имела пределы.

— Ты лжешь! — сказал я, взяв себя в руки. — Да, я разговаривал с Сорок четвертым и буду разговаривать, когда захочу, но из этого вовсе не следует, что он мне друг.

— Ого! Значит, ты и не отпираешься! Этого вполне достаточно. Не хотел бы я оказаться на твоём месте — ни за какие коврижки! Вот узнают печатники, тебе здорово влетит.

Барти очень огорчился. Он умолял Эрнеста не доносить на меня. Но как ни старался Барти, все было тщетно. Эрнест заявил, что даже под страхом смертной казни не откажется от своего намерения.

— Ну и ладно, — сказал я. — Иди доноси, в любом случае от таких, как ты, ничего другого

не жди. Доноси, мне все равно.

— Ах, тебе все равно! Ну что ж, посмотрим. Я скажу печатникам, что ты друг Тюремной Птахи.

Этого еще не хватало! Отчаяние побудило меня к действию.

— Возьми свои слова обратно, или я всажу в тебя кинжал, — пригрозил я.

Эрнест здорово струхнул, хоть и притворился, что ему все нипочем, он даже выдавил из себя смешок и пробурчал, что пошутил. На том спор и закончился. Мастер поднялся со своего места, значит, по этикету и нам полагалось встать. На душе у меня было горестно и безотрадно. Я предчувствовал, что впереди — одни неприятности. И все же было одно утешение — я надеялся, что меня хотя бы не обвинят в дружбе с Сорок четвертым. Все складывалось не так уж плохо.

Мы поднимались в типографию в обычном порядке — по старшинству: я шел за последним печатником, за мной — Эрнест, за ним — Барти. Замыкал процессию Сорок четвертый.

Для ученья ему отводились свободные часы после работы. В типографии он теперь занимал место Барти, большую часть времени выполнял нудную грязную работу, а в промежутках ловил момент и изучал первые шаги несравненного ремесла — набор и разбор шрифта, распределение его по кассам.

По всем правилам полагалось устроить в честь Сорок четвертого церемонию: он впервые пересек порог типографии как подмастерье. Обычно подмастерью вручали кинжал, и отныне он получал привилегию ношения малого оружия в предвкушении грядущего славного дня, когда он овладеет искусством печатника, станет джентльменом и получит шпагу. На левый рукав подмастерью прикалывали красный шеврон, удостоверяющий его новый почетный титул ученика печатника. Сорок четвертому во всех этих знаках внимания было отказано, церемония посвящения не состоялась. Он вступил в мир печатников непризнанным и незванным.

Самый младший подмастерье должен был взять Сорок четвертого под опеку и разъяснить ему его нынешние несложные обязанности. Честный маленький Барти принялся было за дело, но Катценъямер, старший печатник, грубо осадил его и приказал: — Ступай к наборной кассе! [*неглубокий ящик с перегородками, в котором помещаются литеры и пробельные материалы для ручного набора текстов*]

Сорок четвертый растерянно стоял посреди типографии. Он грустно озирался по сторонам, глядя с мольбой на всех, кроме меня, но его никто не замечал, никто даже не глядел в его сторону, будто его здесь и не было.

В углу старый Бинкс, сторбившись, просматривал гранки [*корректурный оттиск, полученный со столбца набора*]; Катценъямер склонился над верстальным столом и заполнял пробельным материалом [*металлические или деревянные брусочки, применяемые в типографском наборе для образования промежутков (пробелов), между словами — шпация, между строками — шпон, для разделения колонок, отделения заголовков — реглет*] промежутки между полосами; Эрнест с накатным валиком и жесткой щеткой в руках делал пробный оттиск; я сверял полосы, выправляя пропуски; Фишер мазал клеем суровое полотно, перекрывая декель [(от нем *Deckel* — крышка) — обтянутая тканью рамка в ручном типографском станке. Верстатка — приспособление для ручного набора строк в виде металлической пластинки с бортиками, в которую вставляют литеры и пробельный материал. Выключка строк — расположение литер и пробельного материала для получения строчки нужной длины]; Мозес занимался набором — выверял каждую строчку реглетом и сновал, как челнок, вправо-влево; он со стуком укладывал литеры в наборную кассу, бил ими с размаху по перегородкам, выкидывая их из кассы, делал два лишних движения, укладывая литеры в верстатку, и третье — щелкая по линейке; при выключке строк выключательные поперечники

торчали у него редкой изгородью из жердей, при наборе вразрядку — клыками старой ведьмы — в общем, получался какой-то частокол из шпаций; сам Мозес являлся живой аллегорией фальши и притворства — от зеленого шелкового козырька до пяток, непрестанно дергавшихся вверх-вниз; он суетился, будто набирал три тысячи литер в час, а сам едва успевал набрать шестьсот — это при легком наборе с двойными шпонами. Непостижимо, как господь терпел такого наборщика — ну что ему стоило поразить притворщика молнией!

На Сорок четвертого было жалко смотреть: лишенный дружеского участия, он стоял одиноко во враждебной тишине. Мне больше всего на свете хотелось, чтоб кто-нибудь проявил к нему сострадание, сказал доброе слово, дал хоть какую-нибудь работу. Но об этом нечего было мечтать: все они только и ждали, чтоб на парня свалилась беда, предвкушали ее, дрожа от нетерпения, знали, что тучи уже сгущаются у него над головой, и гадали, откуда грянет гром. И наконец они дождались. Катценъямер пронумеровал страницы, разделил их реглетами, убрал веревки, связывавшие форму, отрегулировал контрольные ползки, наложил раму для закладки и, взяв молоток-гвоздодер, приготовился забить клинья в форму. Он медленно повернул голову и хмуро уставился на Сорок четвертого. Несколько секунд Катценъямер выжидающе молчал, потом взорвался:

— Да принесешь ты мне наконец клинья или нет!

Жестоко! Откуда было Сорок четвертому знать, что означает незнакомое слово? Выразительное лицо юноши взывало о помощи, печатники глазели на него с молчаливым злорадством, и вот уже Катценъямер двинулся к нему, выставив кулачищи. Господи, взмолился я, если я не смею сказать и слова в его защиту, неужели нет способа ему помочь? И вдруг меня осенило: ведь Сорок четвертый читает мои мысли!

— Сорок четвертый! — мысленно произнес я. — Ящик с клиньями — под каменной плитой!

Сорок четвертый мгновенно вытащил ящик и поставил его на верстальный стол. Теперь он был спасен. Катценъямер и все прочие не могли скрыть удивления и глубокого разочарования.

Какое— то время Катценъямер размышлял над происшествием -видно, пытался разобраться, в чем тут хитрость, потом продолжил свою работу — отобрал клинья и загнал их в форму. Когда форма была готова, Катценъямер снова бросил испытующий взгляд на Сорок четвертого. Тот и сам смотрел на него во все глаза, но что толку? Как он мог догадаться, что хочет от него Катценъямер? Лицо старшего печатника исказила гримаса, он пару раз презрительно сплюнул, потом закричал:

— Кто будет этим заниматься, я, что ли?

Меня его крик не застал врасплох

— Сорок четвертый, — сказал я про себя, — осторожно поставь форму набок, возьми ее правой рукой под мышку и неси вон к той машине — прессу. Положи ее бережно на камень, он называется опорной плитой.

Сорок четвертый невозмутимо взялся за дело и выполнил его безупречно, как бывалый подмастерье. Удивительно! Пожалуй, во всей Европе не нашлось бы второго необученного парня, который справился бы с таким трудным и тонким делом, проявил замечательную сноровку и не рассыпал шрифт на полпути! Я был потрясен, мне хотелось кричать от радости, но я сдержался.

И, разумеется, произошло то, чего и следовало ожидать. Печатники решили, что Сорок четвертый — опытный подмастерье, сбежавший от жестокого хозяина. В подобных случаях не принято расспрашивать человека о его прошлом, но недруги могли задать Сорок четвертому другие, не менее каверзные вопросы. Я был убежден, что они не преминут это сделать. Печатники бросили работу и окружили Сорок четвертого плотным кольцом. Их хмурый вид не

предвещал ничего доброго. Они молча рассматривали парня, наверняка замышляя какую-нибудь пакость. Сорок четвертый, стоя в центре круга, ждал, опустив глаза. Мне было до боли жаль его. Я знал, что сейчас последует, но не видел ни малейшей возможности помочь ему выпутаться из беды. Они срежут Сорок четвертого первым же вопросом, и я не смогу подсказать ему ответ. Наконец Мозес Хаас, ухмыляясь, произнес с издевкой:

— Как же так — опытный подмастерье, а латыни не знаешь?

Вот этого я и боялся! Но Сорок четвертый воистину был вечно новой, неразрешимой загадкой! Он поднял на Мозеса открытый простодушный взгляд и спокойно ответил:

— Ты это обо мне? Но я знаю латынь.

Печатники глянули на него с недоуменным, я бы даже сказал, одураченным видом.

— Зачем ты солгал мастеру? — спросил Катценъямер.

— Я не лгал. У меня не было такого намерения.

— Не было, говоришь? Идиот! Он спросил, знаешь ли ты латынь, и ты ответил, что не знаешь.

— О, нет! — горячо возразил юноша. — Все было иначе. Мастер спросил, изучал ли я латынь, то есть в школе, с учителем, насколько я понимаю. Я, конечно, ответил отрицательно, поскольку овладел ею сам, по книгам.

— Что до непреложной точности выражений, так тут ты пурист, ей-богу, пурист, — раздраженно заметил Катценъямер. — Поди разберись, что ты за человек, — ткнешь в тебя пальцем, а твой уж и след простыл. Ты можешь хоть что-нибудь сделать попросту, без фортелей? Будь моя воля, я б тебя утопил, черт подери.

— Послушай, мой мальчик, так ты действительно знаешь основы всех предметов, про которые спрашивал мастер? — вполне дружелюбно спросил Фишер.

— Да, сэр.

— И всему научился сам?

— Да, сэр.

Лучше б ему не признаваться! Мозес тут же ввернул:

— Честный самоучка не полезет в печатники. Тут мало нахвататься знаний, надо усвоить основы основ наук. Ты увильнул от экзамена, так вот — либо держи его теперь, либо убирайся вон!

Идея была блестящая, и печатники шумно выразили Мозесу свое одобрение. Я был спокоен: Сорок четвертый читает мои мысли, и я наверняка проведу его через это испытание. Экзаменатором назначили Адама Бинкса, и я вскоре убедился, что Сорок четвертый не нуждается в моей помощи. Мне было далеко до него. Я бы, конечно, зазнался, обладай я такими обширными познаниями. А он и не думал зазнаваться. Все поняли, что по образованности Адам Бинкс — дитя по сравнению с Сорок четвертым. Бинкс не годился ему в экзаменаторы. Сорок четвертый намного глубже знал языки, науки, искусство, и, обратись вдруг его эрудиция в воду, Бинкс сразу бы утонул. Печатники не могли удержаться от смеха; будь они настоящими мужчинами, они подобрили бы к своей жертве, но они не были настоящими мужчинами и не подобрили. Бинкс, ставший всеобщим посмешищем, разозлился, но вместо того чтобы излить злобу на шутников, он, бесстыжий, напустился на Сорок четвертого и сбил бы его с ног, если бы не Фишер. Окружающие не благодарили Фишера за вмешательство, они с удовольствием бы выругали его, но это было небезопасно: печатники не хотели исключать Фишера из своего круга. По всему было видно, что он довольно прохладно относится к общему делу, и они опасались, что Густав вообще к нему охладает.

Затея с экзаменом провалилась, провалилась с треском, и печатники возненавидели Сорок четвертого еще больше, хоть сами были во всем виноваты. Это заложено в природе

человеческой. Наконец Катценъямер, старший в типографии, приказал печатникам и подмастерьям браться за работу и пригрозил урезать им плату, если они и дальше будут тратить время попусту. Потом он прикрикнул и на Сорок четвертого: кончай-де бить баклуши и занимайся делом. Теперь никто не наблюдал за новым подмастерьем. Печатники полагали, что он знает свои обязанности. Но я-то видел, что он ничего не знает, и принялся мысленно подсказывать ему. Мне трудно было сосредоточиться на своей работе: какое это было интересное и увлекательное зрелище — смотреть, как Сорок четвертый работает по подсказке.

По моему мысленному указанию он собрал с полу валявшийся под ногами у печатников шрифт и уложил пригодный в ящик с сыпью, а непригодный — в ящик для сломанных литер; протер скипидаром и отчистил от краски накатные валики, приготовил щелочной раствор из древесной золы, вымыл в раковине форму, и надо сказать, отлично справился с этим делом; снял жесткую черную прокладку недельной давности с матричного каландра [*(от фр calandre-прокатывать, лощить)* — машина, состоящая из системы валов, между которыми пропускают бумагу для придания ей гладкости] и заменил ее новой; заварил клейстер, прочистил с помощью воздуходушных мехов несколько наборных касс, приготовил клей для переплетов, смазал машинным маслом валик и перекладыны пресса. Пока Катценъямер печатал на листах латинской Библии цифру 16, Сорок четвертый, надев бумажный передник, закатал краской форму и при этом перепачкался краской с головы до ног — трубочист трубочистом! Потом он занялся набором, сделал корректурную гранку, мастерски связал неиспользованный шрифт и, умудрившись не рассыпать его, уложил в загон [*неотработанный, запасной набор*], принес шпации. Когда наборщики кинули жребий, кому какой урок [*задание, получаемое наборщиком Урок может быть трудоемким для набора и легким (набор стихотворения)*] достанется, унес их на место; тем временем удачливые наборщики радовались легкому уроку, а остальные проклинали свою незадачу. Если бы печатникам вздумалось разыграть новичка и отправить его в деревню к шорнику за таской, он простодушно выполнил бы и это поручение, и шорник с удовольствием задал бы ему таску, но до такого розыгрыша они не додумались: печатники полагали, что Сорок четвертый — стреляный воробей, а потому упустили самый удачный за весь день случай разоблачить его как самозванца, ранее в глаза не видевшего оборудования типографии.

Удивительное создание! Он ни разу не ошибся, но мне приходилось следить за ним с неослабным вниманием, и в результате я запорол пробный оттиск. В «назидание» Катценъямер заставил меня после работы разобрать его собственный шрифт и разложить его по кассам. Он не скупился на такие «уроки».

Итак, я спас Сорок четвертого, не вызвав подозрения у окружающих, не причинив себе никакого вреда, и он стал мне еще ближе. Это было естественно.

Работа кончилась, все пошли мыться; я ног под собой не чувствовал от радости и гордости, и тут Эрнест Вассерман донес, что я беседовал на лестнице с Сорок четвертым!

Я выскользнул из комнаты и убежал. Поступок был разумный: меня миновала первая вспышка их гнева; попадись я печатникам под горячую руку, вряд ли отделался бы оскорбительными кличками — могли и поколотить. Я спрятался в укромном месте дальней нежилой части замка, посреди лабиринта галерей и коридоров. Разумеется, я не собирался в гости к Сорок четвертому, хоть и дал слово прийти, но при таком повороте событий он меня и не ждет — это ясно. Пришлось пропустить ужин, а это тяжкое испытание для растущего парня. К тому же в моем сыром, холодном закутке недолго было и в ледышку обратиться. А сон — какой уж тут сон: холод, крысы, привидения. Не скажу, что я видел их, привидения, но поминутно ждал, что увижу. Чего ж тут удивляться? В такой древней многовековой развалине привидения, как говорится, кишмя кишат; на протяжении столетий существования замка — ив ранние годы, и в зрелые — о нем ходила неизменная слава как о месте романтическом, насквозь пропитанном преступно пролитой кровью; я на своем опыте убедился, что еще не известно, какое из двух зол меньшее: мертвея от ужаса, глядеть на привидения или, вслушиваясь в темноту, высматривать их. По правде говоря, я не жалел, что сон бежит от меня, я боялся уснуть. Пришла беда — отворяй ворота; я молил о помощи бога, на него теперь была вся надежда. Кровь у меня по молодости лет была горячая, и я умудрился соснуть урывками, но большую часть ночи я молился, молился горячо и искренне. Я понимал: моими молитвами тут не обойдешься, нужны более действенные молитвы чистых и святых людей, молитвы посвященных — вот их бог услышит, а услышит ли меня, еще не известно. Меня могло спасти лишь заступничество Вечно Молящихся Сестер. Им надо было заплатить пятьдесят серебряных грошей. Если тебе грозила беда, если тучи у тебя над головой не рассеивались, молитва Вечно Молящихся Сестер ценилась выше молитвы священника: его молитвы возносились к небу в определенное время, а в промежутке тебя ничто не охраняло, тогда как молитвы Сестер возносились непрерывно, что явствует из названия их монастыря, они не прекращались ни днем, ни ночью. Как только две монахини поднимались с колен, две другие тотчас занимали их место перед алтарем, и молитва не прерывалась. Монастырь Вечно Молящихся Сестер находился на другом берегу реки за деревней. Сестры молились с особым рвением за каждого обитателя замка, потому что наш князь недавно оказал монастырю очень большую услугу; он выпрашивал у бога прощения за убийство своего старшего брата, великого князя Богемии, главы династии. Наш князь реставрировал, роскошно отделал старинную церковь в фамильном замке и отдал ее в пользование Вечно Молящимся Сестрам, пока в их монастыре, разрушенном ударом молнии, велись восстановительные работы.

Вечно Молящихся Сестер ждали в воскресенье, значит, служба продлится вдвое дольше: вынесут святое причастие в дароносице, и четыре монахини вместо двух начнут молитвенное бдение. И все же, если прислать деньги вовремя, они помолятся и за меня, а это все равно что вступить в дело на выгодных условиях.

Наш князь не ограничился упомянутой мной милостью и взял на себя треть расходов по восстановлению монастыря. Вот почему мы были в большом фаворе у Сестер. Отправлять богослужение будет старый отец Питер, добрейший и честнейший человек. Отец Адольф отказался: это не сулило ему выгоды, потому что все деньги шли на содержание приюта для бездомных сирот, о которых пеклись милосердные сестры.

Когда наконец крысы прекратили возню, я понял, что долгая ночь близится к концу, и выбрался на ощупь из своего убежища. На кухне при свете свечи уже хлопотала Катрина; услышав мой рассказ, она преисполнилась сочувствия ко мне и пообещала дать Эрнесту и леща,

и перцу, и березовой каши; потом, спохватившись, быстро сготовила горячее на завтрак, уселась за стол, судачила и, как всякая хорошая стряпуха, любовалась, с какой жадностью я ем, а я и вправду сильно оголодал. Мне было приятно слушать, как она честит этих негодяев и насмехается над ними — проходу, мол, не дают ее мальчику, и нет среди них ни одного настоящего мужчины, кто вступился бы за него и за мастера.

— Боже правый, если бы Навсенаплюй был здесь! — взмолилась Катрина.

Я вскочил, обхватил руками морщинистую шею старухи и стиснул ее в объятиях — благословенная мысль! Катрина тихо опустилась на колени перед маленьким алтарем пресвятой девы — я тотчас последовал ее примеру — и вознесла за всех нас молитву о помощи из глубины горячего преданного сердца, а потом, поднявшись с колен, полная сил и уверенности в правоте своего дела, заклемила наших недругов таким пламенным и замысловатым проклятием, какого я никогда не слышал из уст непосвященного.

Уже рассветало, когда я поделился с Катриной своим замыслом обратиться к Вечно Молящимся Сестрам; она похвалила меня за набожность и добросердечие и благословила на доброе дело, заверив, что сама отошлет им деньги и все устроит. Мне пришлось попросить у нее займы два серебряных гроша, чтоб набралась нужная сумма — пятьдесят, и Катрина с готовностью отозвалась: — Неужто не дам? Ведь ты сам попал в беду за то, что был добр к моему мальчику. Конечно дам, и пять дам, если понадобится!

Слезы выступили на глазах у Катрины, и она прижала меня к груди. Я прибежал к себе в комнату, захлопнул дверь и запер ее на замок, потом вытащил свои сокровища из тайника и пересчитал монеты; оказалось, что их пятьдесят! Я не мог понять, в чем дело. Снова пересчитал — дважды, но ошибки не было, неведомо откуда появились еще два гроша. Все сложилось наилучшим образом, мне и в долги залезать не пришлось. Я отнес деньги Катрине и рассказал ей про чудо. Она, пересчитав гроши, недоумевала и дивилась не меньше моего. И вдруг Катрину осенило! Она упала на колени перед алтарем, и из уст ее полилась хвала пресвятой деве за столь быстрый чудодейственный ответ на ее мольбу о помощи.

Катрина поднялась с колен самой гордой женщиной в округе, и гордость ее была оправданна.

— Подумать только! Пресвятая дева свершила это чудо для меня, бедной ничтожной служанки, праха земли! — произнесла она, стараясь проявлять должное смирение. — А ведь есть на земле и коронованные монархи, для которых Она не свершила бы чуда! — и, несмотря на смирение, в глазах Катрины вспыхнуло ликование. Через час о чуде знал весь замок, и куда бы ни пошла Катрина, ей всюду оказывали почет и уважение. Начавшийся день, этот злополучный вторник, принес сплошные огорчения и Сорок четвертому, и мне. Печатники слонялись по замку злые и угрюмые. Они придирались по малейшему поводу, отпускали шуточки и откровенно глумились надо мной, а когда «сострил» Катценъямер — обозвал меня непечатным словом, вся компания покатила со смеху и принялась водить линейками по наборным кассам — у печатников это равнозначно издевательским аплодисментам. Смехом они наградили остроумие старшего по цеху, издевка предназначалась мне. Надо подумать, над кем насмехаешься, прежде чем водить линейкой по кассе: не всякий такое стерпит. Это самая искусная и выразительная издевка из всех, изобретенных человеком. Звук получается резкий, скрежещущий, назойливый, а мастер своего дела может уподобить его крику осла. Как-то на моих глазах возмущенный печатник выхватил в ответ шпагу. А что касается прозвища, которым наградил меня Катценъямер, оно огорчило и уязвило меня больше всех других обид и оскорблений. Я расплакался, как девчонка, и необычайно обрадовал тем самым печатников; они потирали руки и визжали от радости. Обидная кличка вовсе не подходила парню моего сложения, а потому ничего остроумного в ней не было. Это жаргонное словечко печатников

(позаимствованное в Англии) определяло вид шрифта. Все шрифты слегка уже сверху, чем у ножки литеры, но в некоторых комплектах шрифта это расширение книзу так явственно, что злоязычные печатники называют его бурдюком. Вот отсюда и пошла гнусная кличка, придуманная Катценъямером. Если я что-нибудь знаю о печатниках, она пристанет ко мне навечно. Не прошло и часа, как она уже красовалась на моей метке. Представляете? Они приписали к моему номеру буквы, с которых начинались обидные слова, в штампе над пачкой уроков значилось: «шпон 4 — БЗ» [*Обидная кличка, огорчившая Августа, — «бурдючный зад»*]. Кто-то скажет, что это сущий пустяк. Но, доложу вам, не все, что кажется пустяком людям, повидавшим свет, пустяк для молодого человека. Впоследствии мало что вызывало у меня такое чувство стыда, как этот «пустяк».

Печатники продолжали издеваться над безропотным Сорок четвертым. Стоило ему отвернуться, как клинья и шпации летели ему в голову и спину, но, не причинив вреда, отскакивали, точно град. Если Сорок четвертый, выполняя какую-нибудь работу, наклонялся, печатник, стоявший рядом, бил его что было мочи наборной доской по мягкому месту и с притворным раскаянием восклицал:

— Ах, это ты? А я думал — мастер!

Все вокруг хохотали, довольные, и выдумывали все новые «шутки». Катценъямер и компания не упускали ни малейшей возможности унижить Сорок четвертого, причинить ему боль. И делалось это не столько во вред новому подмастерью, сколько из желания досадить мастеру. Они пытались вызвать Сорок четвертого на какое-нибудь ответное действие, вот тогда, навалившись на него всем скопом, они бы его избили. Но это им не удалось, и день, по их мнению, прошел зря.

В среду печатники явились в типографию, задумав множество новых каверз, рассчитывая на большой успех. Подкравшись к парню сзади, они опускали ему за шиворот куски льда, развели огонь под рукомойником, а когда Сорок четвертый бросился его заливать, изображали общий переполох и опрокидывали ведра с водой не в огонь, а, будто ненароком, на Сорок четвертого, да еще притворно возмущались, что он путается под ногами и мешает им тушить пожар. Когда Сорок четвертый закатывал краской шрифт для Катценъямера, этот негодяй все время норовил хватить его металлической рамкой по голове, чтоб он не успел увернуться, и кончил тем, что опустил рамку раньше времени; она угодила в контрольный полозок и выгнулась дугой, а Сорок четвертый получил нагоняй, будто в этом была его вина.

Они травили беднягу все утро, но снова их старания вывести его из себя не увенчались успехом. Днем они подсунули Сорок четвертому урок из латинской Библии, и он провозился с ним до вечера, когда же, сделав пробный оттиск, парень шел с наборной доской, Мозес дал ему подножку, и Сорок четвертый растянулся на полу, выронив доску. Старший печатник метал громы и молнии, досадуя на его неуклюжесть, и свалил всю вину на Сорок четвертого, будто Мозес был вовсе ни при чем, а под конец проявил особую зловредность — приказал парню вернуться в типографию после ужина и заново набрать урок — при свете свечи, если придется работать всю ночь.

Такой несправедливости Фишер не стерпел и вступился за нового ученика, но Катценъямер рывкнул, чтоб он занимался своим делом, а печатники надвинулись на Фишера с угрожающим видом, и защитнику пришлось отступить и замолчать. Он пожалел о своем добром поступке, потому что дал Катценъямеру повод ужесточить наказание.

— Ты считаешь себя важной персоной, не правда ли? — съязвил Катценъямер, обернувшись к Фишеру. — Так вот, я преподам тебе маленький урок: хочешь навлечь кару на Тюремную Птаху, выгораживай его, суй нос не в свое дело.

И Катценъямер приказал Сорок четвертому собрать весь рассыпанный шрифт, разложить

его по кассам, а уж потом приступить к уроку!

Работы он задал бедному парню на всю ночь, хоть тот ничем не заслужил такого наказания. Знал ли мастер о бесчинствах печатников? Знал, конечно, и в душе кипел от негодования, но он был вынужден держать себя в узде и не подавать виду. Мастер всецело находился в руках печатников и понимал это. Он был связан обязательством выполнить большой заказ Пражского университета, работа была почти закончена, требовалось всего несколько дней, чтобы довести ее до конца; невыполнение заказа означало бы полное разорение. Мастеру приходилось закрывать глаза на все подлости печатников: если Катценъямер и его дружки откажутся работать, где искать других? В Венеции? В Лондоне? Во Франкфурте? В Париже? Да ведь пока туда доберешься, пройдет несколько недель!

В среду печатники отправились спать, торжествуя победу, а я совсем пал духом.

Но, господи, почему мы так легко впадаем в уныние? К утру Сорок четвертый прекрасно справился с работой. Да, он был поистине удивительный человек!

Но беда нагрянула — печатники объявили забастовку! Бедный мастер! Когда до него дошла страшная весть, он еле добрался до постели: сказались беспокойство последних дней, уязвленная гордость и отчаяние. Мастер метался в лихорадке и нес что-то несусветное в беспамятстве, чем очень огорчал своих сиделок — Маргет и Катрину. Печатники забастовали в четверг утром и известили об этом мастера. Потом они долго спорили о том, как обосновать свои требования. Наконец составили ультиматум и отправили его хозяину. Он был не в состоянии читать, и Маргет отложила бумагу в сторону. Ультиматум был очень прост. В нем говорилось о том, что Тюремная Птаха — сущее наказание для всех, источник нескончаемого раздражения и никто не вернется к работе до тех пор, пока его не отошлют из замка.

Они знали, что мастер не вправе выгнать ученика. За такой поступок его бы с позором изгнали из гильдии, сломав его шпагу: ведь мастер не мог доказать, что подмастерье в чем-то провинился. Откажись он выгнать Сорок четвертого, печатники не приступят к работе, дорогостоящий заказ не будет выполнен, и мастер разорится.

Печатники злорадствовали: теперь мастеру куда ни кинь, всюду клин. Он был у них в руках, в какую бы сторону ни подался.

Утро в ту злосчастную пятницу выдалось мрачное и тоскливое. Машины в типографии впервые за все время не работали. Надежды на перемену к лучшему не было. Как повелось, печатники отправились к ранней мессе вместе со всеми обитателями замка, но к завтраку, естественно, не вернулись. Явились час спустя и бесцельно слонялись по замку, заполняя время пустыми разговорами, сплетнями, картами. Они, понимаете ли, «удерживали крепость», что само по себе было бесполезным занятием, потому что ее никто не собирался брать. При нынешних обстоятельствах работать в типографии было опасно.

Да, надежды не было. Через некоторое время Катрина прошла мимо забастовщиков, и Мозес, увидев грусть на ее лице, не удержался от насмешки:

— На твоём месте я бы не унывал, Катрина. С молитвой-то можно одолеть все невзгоды. Закинь-ка удочку своей подружке — деве Марии!

Катрина радостно вспыхнула, будто Мозес произнес что-то приятное, а не богохульство.

— Спасибо за хорошую мысль, собака, — бросила она на ходу.

Я поспешил за ней, шутка Мозеса и меня надоумила, что надо делать. Хватит отчаиваться, решил я, пора действовать, надо призвать на помощь любую сверхъестественную силу, за которую можно расплатиться либо любовью, либо деньгами, — богородицу, астролога Балтасара или Вечно Молящихся Сестер. Благословенная мысль! Катрина подивилась моей сообразительности. Она сразу же загорелась новой идеей и вогнала меня в краску своими похвалами. Я и впрямь заслуживал похвалы, но по другой причине: я велел Катрине изъять мою прежнюю «просьбу» у монахинь (обращаясь к Вечно Молящимся Сестрам, люди высказывают пожелание, именуемое «просьбой») и передать им, чтоб молились не о моем спасении — пусть вовсе забудут про меня, — а горячо заклинали господу, чтоб вездесущий печатник Навсенаплюй пришел на помощь мастеру. Катрина сочла такое самопожертвование благородным и прекрасным; бог не позабудет о нем и воздаст тебе сторицею, обещала она, и я, разумеется, тоже думал о воздаянии — оно было бы справедливым.

Катрина согласилась и с другим моим предложением — пусть Сорок четвертый уговорит своего повелителя-мага обратить колдовство на пользу мастеру. И мы с Катриной воспрянули духом: тучи у нас над головой рассеивались, нам снова улыбалось солнце. Более разумного решения было не найти: мы складывали акционерный капитал, а не расточали его, ставили деньги сразу на три карты, и хоть одна из них должна была выиграть. Катрина заявила, что за час приведет все три великие силы в действие и заставит их работать непрерывно, пока не взвьется флаг нашей победы.

Я ушел от Катрины, ног под собой не чуя от радости. В душе я, правда, опасался, что мы зря поставили на одну из карт — на мага. Он, само собой разумеется, мог принести победу нашему флагу, если пожелает, да вот пожелает ли? Пожелает, если его уговорят Мария и ее мать, но кто их об этом попросит? Катрина? Они, конечно, не хотят, чтоб мастер разорился, ведь это означало бы разорение и для них, но Мария и ее мать поддались на уговоры забастовщиков и заблуждались, наивно полагая, что забастовка не причинит вреда никому, кроме Сорок четвертого. А в то, что Сорок четвертый может повлиять на своего могущественного хозяина, я не очень верил: с таким же успехом можно ожидать, что монарх благосклонно отнесется к просьбе жалкого лакея.

Я уповал на то, что выигрышной окажется карта Катрины, да и в своей несколько не сомневался. Она приведет сюда Навсенаплюя, где бы он ни находился, — это уж как пить дать. Что он сумеет сделать, появившись здесь, — ну, это другой вопрос. В одном на него всегда

можно положиться — Навсенаплюй примет сторону побежденного, прав он или не прав, и сделает все, что в его силах, — все, что в человеческих силах.

Навсенаплюй был странствующим печатником, работавшим по найму. Никто не знал его настоящего имени, его давно вытеснило прозвище, точно и метко определявшее его суть. Какие бы козни против него ни строили, какие бы помехи ему ни чинили, какие бы пакости ни делали, ему было на все наплевать — так он сам говорил. Навсенаплюй был весел и беззаботен, щедр, доброжелателен к людям и был конечно же мот без гроша за душой, не мысливший, как можно жить иначе. Но несмотря на все превратности судьбы, Навсенаплюй, прирожденный франт и волокита, одевался с иголки. Красивый, стройный, изящный, как Сатана, Навсенаплюй очень нравился женщинам и знал об этом. Он не боялся ни бога, ни черта и слыл задирой по рождению и по наклонностям. Все печатники хорошие фехтовальщики, но Навсенаплюй считался непревзойденным мастером в искусстве фехтования, проворным и подвижным, как кошка. При всем при том он был чрезвычайно просвещенный человек и мог по праву занять *sanctum sanctorum* [(лат) — *святая святых*], как именуется на жаргоне печатников кабинет редактора. Обладая прекрасным голосом, прекрасным сильным баритоном, Навсенаплюй имел серьезные познания в музыке, хорошо играл на разных инструментах, разбирался в живописи и ругался на девяти языках. Он был примерным сыном церкви, честно выполнял свой долг христианина, а о лучшем друге трудно было и мечтать.

Но ему не сиделось на одном месте, и Навсенаплюй бродяжничал, слонялся по всей Европе. Если и существовал когда-нибудь вечный «пом.» (помощник), Навсенаплюй и был им. Он мог бы иметь свою наборную кассу везде, где бы ни пожелал обосноваться, но если такой факт и имел место, он стерся из людской памяти. Навсенаплюй появлялся у нас несколько раз в году, как, впрочем, и во Франкфурте, и в Венеции, и в Париже, и в Лондоне, и в других городах Европы; через неделю, от силы — две-три он снимался с места, устроив прощальную пирушку друзьям и оставив себе денег ровно столько, сколько требовалось, чтобы перепорхнуть на новое место.

Мы замерли на мертвой точке, а дел было — выше головы! Дел много, а времени в обрез; заказ предстояло выполнить к следующему понедельнику. Прибудут заказчики из Праги и потребуют свои две сотни Библий — вернее, отпечатанные листы: мы не условились их переплетать. Половина наших печатников корпела над этим большим нудным заказом вот уже восемь месяцев; еще 30 000 «м» [*«М»*, как самая широкая литера, является единицей монотипной системы измерения] — и набор закончен, на худой конец, мы могли приналечь все вместе и завершить дело за четырнадцать часов, потом еще за пару часов отпечатать два последних сфальцованных листа и выполнить заказ досрочно, — и вот мы бездельничаем, а мастеру грозит разорение.

Всю пятницу и субботу я бегал сам не свой к Совиной башне — высматривал, не покажется ли внизу, на извилистой тропинке Навсенаплюй, а потом возвращался в кухню к Катрине за советом и новостями. Но вот прошла суббота, спустилась ночь, никаких перемен не произошло, мы все еще находились между небом и землей. Маг дал Сорок четвертому нагоняй и перестал использовать его как посредника для своих чудес. Тогда Катрина запугала Марию и ее мать, растолковав, какая им угрожает опасность, и они попытались счастья у мага. Валтасар Хофман был очень учтив, исполнен сочувствия и желания помочь, но при этом не связывал себя никакими обязательствами. По его мнению, дело было не в печатниках — они против своей воли стали орудием в руках трех самых могущественных и злобных демонов ада, которых он, Валтасар Хофман, знал по именам; он сражался с ними и одолел демонов, едва не поплатившись за это жизнью. Демоны устроили заговор не против мастера (мастер им нужен лишь для отвода глаз) — они наметили жертвой его, мага, он еще сам не знает, чем кончится эта

битва; и все же он обратится к звездам и сделает все, что в его силах. Валтасар Хофман полагал, что в заговоре участвуют еще три могучих демона и, если его догадка подтвердится, ему придется просить помощи у самого Князя тьмы. Последствия, несомненно, будут ужасны: много невинных людей умрет со страху от грома и молний, неизбежно сопутствующих появлению Князя тьмы, и от одного его грозного вида, но если леди пожелают...

Но леди не пожелали, как, впрочем, и все остальные. Итак, если три новых демона не вступят в борьбу, маг, возможно, померится силою с тремя прежними, одолеет их, и для мастера все обернется наилучшим образом, но если вступят — игра, разумеется, проиграна: никто не захочет, чтоб за битву взялся сам Люцифер. Дело было нешуточное, оставалось лишь ждать, как поведут себя три новых демона.

Тем временем Валтасар работал истово — мы это видели. Непрерывно шепча заклинания, он бросал в котел порошки, сушеных ящериц, тритонов, человеческий жир и прочие действенные колдовские средства; мага окутывал дым, а от котла поднималась такая вонь, что хоть беги из замка; ее, наверное, чуяли и на небесах.

Я все еще сидел в Совиной башне в надежде на чудо, пока не стемнело; долина и дорога засеребрились в лунном свете, а Навсенаплюй так и не пришел; на сердце у меня было очень тяжело. Но, как говорится, утро вечера мудреней; воскресная служба в нашей церкви возымеет двойную силу, потому что перед алтарем встанут четыре монахини вместо двух. Эта мысль вселяла надежду.

Очевидно, все времена хороши для встречи влюбленных — и печальные, и радостные. Внизу, на крыше замка, две парочки отрабатывали сверхурочные — Фишер и Маргет, Мозес и Мария. Мария мне безразлична, но будь я постарше и пожелаю Фишер завести помощника... Впрочем, все это увлечения давно минувших дней, теперь я такими пустяками не занимаюсь. Но как она красива Маргет!

Утро в воскресенье выдалось чудесное — мирное, благостное, солнечное. Даже не верилось, что в таком прекрасном мире могут существовать распри и вражда. К полудню к церкви потянулись разодетые обитатели замка — женщины в самых нарядных платьях, мужчины в бархатных камзолах, рубашках с кружевами, в бархатных плотно прилегающих штанах, подчеркивающих мускулистость ног. Мастера и его сестру внесли в церковь на кушетках, чтобы и они извели благодать молитвы; мастер, бледный, отрешенный, еще не оправился от потрясения; вслед за ними вошли остальные домочадцы — все, кроме мага и Сорок четвертого. Колдунам и их посредникам в церкви не место. Потом явились сельчане, и церковь заполнилась.

Она блистала роскошью новой отделки и позолоты; у всех на виду возвышался орган — недавнее изобретение, вряд ли кому из прихожан знакомое. Вот он тихо зарокотал, жалобно запел, и лица людей, внимавших божественным звукам, засветились восторгом. Я никогда не слышал музыки, исполненной такой сладкой грусти и нежности, такой глубокой утешительной веры. Будто в сладкой грезе орган стонал и плакал, вздыхал и пел; стонал и плакал, вздыхал и пел; нежные звуки то взлетали в небо, то опускались на землю, стихали, таяли, замирали где-то в туманной дали и, оживая, возвращались, врачуя душевные раны, утоляя печаль, все глубже и глубже погружая нас в умиротворяющий покой; и вдруг — раскатами грома — звуки захватывающей дух радости и торжества, и в этот момент нам явились — один за другим — служители церкви. Поверьте, все мирские заботы, все недобрые мысли разом оставили нас; поверьте, все воспарившие страждущие души уподобились саду, жаждущему животворной росы истины, готовому жадно ее впитать и сохранить, как величайшую ценность.

Лицо нашего священника, отца Питера, лучившееся добротой и любовью, казалось, даровало нам благословенную надежду на спасение. Отец Питер поведал прихожанам, как возникла сама идея Вечного Моления. Оказывается, ее заронил в сердце святой Маргариты Алансонской сам господь, посетовав на то, что люди не чтят его, как подобает, после всего, что он для них сделал. Отец Питер пояснил:

— Цель Вечного Моления — возрадовать нашего господя, внести хоть малую лепту во искупление неблагодарности рода человеческого. Вечно Молящиеся Сестры денно и нощно творят молитву перед алтарем вездесущего, вознося забытому людьми спасителю хвалу и благодарение, возрождая его культ. Молитвенное бдение не прерывается ни в жару, ни в холод. Сестры неусыпно славят бога и днем, и ночью. Какое высокое призвание! Кроме праведного труда священника невозможно вообразить более возвышенное занятие. Культ отправляет монахиня-девственница, она простирает к небу безгрешные руки, вкладывает в молитву безгрешную душу и молит бога смилостивиться, ниспослать благоденствие всем людям, но особенно тем, кто просил Сестер помянуть их в своих святых молитвах.

Отец Питер говорил о благословении, материальном и духовном, даруемом господом всем, кто внесет деньги на восстановление монастыря Вечно Молящихся Сестер и его новой церкви.

— В новой церкви святое причастие будет выставлено для поклонения большую часть года, — обещал отец Питер. — Но наша самая сокровенная мечта — воздвигнуть господу нашему и спасителю прекрасный алтарь, величественный трон Господень. Великолепное убранство и море света должно окружать господя. Господь изъявил волю свою рабе божьей Маргарите, сказав: «Я стражду, чтобы люди почитали меня в святом причастии, я стражду, чтобы люди воздавали мне почести в царских чертогах».

Осознав разумность желания господя, многие прихожане поднялись со своих мест и

пожертвовали деньги на восстановление храма, я же раньше отдал монахиням все, что имел. Отец Питер продолжил проповедь и привел свидетельства очевидцев о сверхъестественности происхождения культа Вечного Моления и многочисленные тому доказательства.

— Чудеса, о которых не говорится в Библии, не следует принимать за чистую монету, — пояснил отец Питер. — В них можно поверить, лишь когда они подтверждены достойными свидетелями. Но время от времени господь совершает чудеса, чтобы укрепить нашу веру или обратить грешников на путь истинный.

Отец Питер горячо убеждал нас быть начеку и не принимать на веру чудеса или то, что кажется чудесным, по собственному разумению, не услышав просвещенного мнения прозорливого священника или епископа. Он сказал, что не всякое из ряда вон выходящее явление — чудо, ибо истинное чудо — не обязательно чрезвычайное, но часто вполне вероятное происшествие. Вероятное, ибо в данных обстоятельствах оно имело особое предназначение, — при обстоятельствах, указующих на то, что послано оно не зря, а с высокой и оправданной целью. Отец Питер подтвердил свою мысль несколькими весьма интересными примерами, они выявляли особенно ярко вероятность событий и вместе с тем их необычную природу, это было ясно не только искусственному уму, но и младенчески неопытному. Одно из этих чудес называлось «туринское чудо», и вот что отец Питер поведал о нем. В 1453 году воры ограбили церковь в Исигло и среди прочего унесли драгоценную дарохранильницу, в которой лежало святое причастие. Они спрятали дарохранильницу в большом мешке и навьючили свои трофеи на осла. 6 июня воры проезжали с награбленным добром по улицам Турина. Вдруг осел заартачился и, как его ни били, не двигался с места. Веревки, которыми мешок был привязан к спине осла, разом лопнули, мешок открылся, и взору явилась дарохранильница. Она поднялась высоко в небо и чудесным образом застыла в неподвижности к удивлению многочисленных зрителей. Весть о необычайном происшествии быстро распространилась по городу. Явился епископ Людовик с капитулом и местным духовенством. Они сподобились лицезреть новое чудо. Святое причастие покинуло дарохранильницу, которая опустилась на землю, само же святое причастие по-прежнему неподвижно висело в воздухе, величественное и сияющее, как солнце, посылая во все стороны ослепительные лучи. Толпы потрясенных людей кричали от радости и, пав ниц, славили бога-спасителя, явившего так зримо свое величие и славу. Епископ, стоя на коленях, заклинал господа низойти в потир. И тогда святое причастие медленно опустилось в потир и было унесено в церковь святого Иоанна при небывалом ликовании народа. На том месте, где произошло это чудо, отцы города Турина воздвигли огромный храм [*«В 1453 году» — Марк Твен подколол к рукописи несколько вырезок из религиозных брошюр, изданных в 1902 г в США монастырем Вечно Молящихся Сестер (г Клайд, штат Миссури) Проповедь отца Питера почти точно воспроизводит текст этих брошюр*].

Отец Питер заметил, что здесь мы имеем двух неоспоримых свидетелей чуда, которые не могут солгать, — епископа и осла. Многие прихожане, проявлявшие до сих пор сдержанность, пожертвовали деньги на храм. А отец Питер продолжал:

— А теперь подумайте, как господь наш, желая вызвать у людей раскаяние, явил свое величие в городе Марселе, во Франции. В 1218 году святое причастие было выставлено для поклонения в церкви монастыря францисканцев на сорок часов. Многие благочестивые миряне помогали отправлять службу. Вдруг святое причастие исчезло, и молящимся предстал сам творец мира. Лик его светился, взор был взыскующ, но милостив, и люди не могли его выдержать. Они стояли, не в силах шевельнуться от страха, но потом осознали, что значит это великое явление. Епископ Белсун собрал более шестидесяти свидетельств, данных под присягой.

Но, невзирая на чудо, люди жили в грехе, как и раньше, и господу пришлось послать новое

знамение. Отец Питер рассказал, как это случилось:

— Двум праведникам было видение, что господь вскоре найдет на город страшную напасть, если горожане не обратятся на путь истинный. И через два года чума скосила большую часть жителей города.

А еще отец Питер поведал нам о том, как двумя столетиями раньше во Франции Вельзевул и еще один дьявол вселились в женщину и ни за что не хотели покинуть свою жертву, хоть сам епископ приказал:

— Изыди, Сатана!

Но при виде святого причастия дьяволы бежали, богохульствуя, и свидетелями тому были сто пятьдесят тысяч человек. Рассказал отец Питер и о том, как изображение святого причастия на окне церкви, в которую раньше часто ударяли молнии, отныне оберегало ее в грозу. Развивая свою мысль, отец Питер сказал, что молния ударяет в церковь не случайно, а лишь с высокой целью.

— В нашу церковь молния ударяла четырежды, — напомнил он, — вы можете спросить: почему господь не отвел удара? Во всем есть мудрый умысел божий, и нам не дано судить о нем. Но одно можно сказать наверняка: не посети нас господь таким путем, мы не воззвали бы к щедрости благочестивых прихожан, любящих бога. Мы были бы счастливы, ходя во тьме. Может, в этом и был божественный промысел.

Некоторые прихожане, не дававшие денег на храм с того самого времени, как молния ударила в него впервые, не уразумевшие тогда ее высокого предназначения, теперь с радостью внесли свое пожертвование. Другие же, вроде пивовара Хуммеля, прожженного дельца, лишеного всяких чувств, заявили, что разрушение храма — слишком расточительный способ рекламы и богу-отцу следовало бы передоверить ее деловым практичным людям, имеющим опыт в рекламном бизнесе. Хуммель и ему подобные так и не дали денег на храм. Потом отец Питер припомнил еще одно чудо, и все пожалели, что проповедь заканчивается, мы были готовы слушать часами про волнующие и поучительные чудеса, извлекая при этом для себя огромную пользу.

Вот какой случай произошел днем 3 февраля 1322 года в церкви Лоретте в Бордо. Ученый пастырь, доктор Делор, профессор теологии в Бордо, выставил святое причастие для поклонения. Пропели «Восславим господа», и вдруг ризничий, тронув священника за плечо, говорит:

— Господь явился в святом причастии!

Доктор Делор поднимает взор на святое причастие и лицезрит господа. Полагая видение игрой света, он меняет положение, чтобы лучше разглядеть святое причастие. Доктор Делор видит, что оно как бы разделилось надвое и посередине появился юноша неопишуемой красоты. Грудь Иисуса была над дарохранильницей, левая рука прижата к сердцу. Он милостиво кивнул и благословил молящихся правой рукой. Господа лицезрели ризничий, несколько детей и множество взрослых прихожан. Видение длилось все время, пока шло причащение. Нечеловеческим усилием священник поднял дарохранильницу и, не отрывая взгляда от божественного лика, благословил молящихся. С тех пор день явления господа отмечается в церкви Лоретте каждый год.

В глазах у слушателей заблестели слезы. И в этот миг в нашу церковь ударила молния, и она сразу опустела — прихожане в ужасе разбежались.

Не оставалось сомнений в том, что произошло еще одно чудо: в небе не было ни облачка. Позднее отец Питер привел к присяге свидетелей происшествия, и чудо признали и занесли в анналы в Риме. Наша церковь прославилась, и к ней потянулись пилигримы.

Для нас с Катриной чудо в церкви означало, что я вытянул козырную карту, и мы ликовали, уверенные в победе. Теперь мы знали, что Навсенаплюй вот-вот явится. Я снова побежал в Совиную башню — на свой сторожевой пост.

Но меня опять постигло разочарование. Час за часом проходили напрасно, близилась ночь, на небе возшла луна, а Навсенаплюй не появлялся. В одиннадцать я понял, что дальше ждать нет смысла, и ушел из башни, подавленный и закоченевший. Мы с Катриной терялись в догадках — в чем тут штука? Наконец Катрину осенило:

— Порой чудеса совершаются не сразу, а с мудрым умыслом, скрытым от нас, и нам не подобает вопрошать о нем господа, — заявила она. — Ведь было же откровение праведнику, что господь найдет холеру на город Марсель, если он не сойдет с греховной стези, но пророчество сбылось лишь через два года.

— Бог ты мой, вот оно что! Теперь понятно, — понуро сказал я. — Навсенаплюй придет через два года и будет слишком поздно. Бедный мастер! Ничто его не спасет, он пропал. Завтра до восхода солнца недруги восторжествуют, мастер будет разорен. Пойду лучше спать, по мне хоть бы вовсе не просыпаться!

Наутро часов в девять Навсенаплюй был в замке! Ах, если бы он здесь оказался всего на несколько дней раньше! Я расчувствовался, как девчонка, и не мог сдержать слез. Навсенаплюй явился с деревенского постоялого двора как всегда неожиданно — веселый, нарядный, в шляпе с пером. Обитатели замка окружили его со всех сторон, и Навсенаплюй тотчас рассыпался в любезностях. Потрепав старую фрау Штейн по подбородку, восхитился:

— До чего хороша! Символ неувядающей юности!

Катрину он назвал отрадой своего сердца и сорвал поцелуй; ахнул от восторга, глянув на Марию, заявил, что она ослепительно красива и, точно солнце, освещает скучный замок; потом, излучая всем видом дружелюбие, направился к печатникам, которые с утра пораньше пили пиво и замышляли пакости, предвкушая скорую победу. Навсенаплюй и для них нашел теплые слова, но ни один из мужчин не поднялся ему навстречу, ни один не обрадовался его приходу; они знали его натуру: как только Навсенаплюй разберется, что к чему, он тотчас примет сторону слабого. Навсенаплюй обвел глазами печатников, и улыбка сошла с его лица. Он прислонился к свободному столу и полусидя, скрестив ноги, внимательно вглядывался в лица. Наконец серьезно сказал:

— Вижу, что-то случилось. Что именно? Печатники сидели мрачные, угрюмые и молчали.

Навсенаплюй обратился ко мне:

— Объясни, в чем дело, парень.

Гордясь его вниманием, я собрал все мужество, преодолел страх перед печатниками и, внутренне дрожа, открыл было рот, но не успел и слова молвить, как Сорок четвертый опередил меня и кротко произнес:

— Если позволите, сэръ, объясню я, а то Август навлечет на себя неприятности, ведь всему виной не он, а я.

Печатники были потрясены тем, что робкий Сорок четвертый отважился на такое рискованное дело, и Катценъямер, смерив его презрительным взглядом, грубо оборвал:

— Будь добр, заткнись и постарайся больше не открывать рот.

— Положим, я попрошу его открыть рот, — вмешался Навсенаплюй, — что тогда?

— Тогда я закрою его силой, вот что!

В глазах Навсенаплюя появился холодный стальной блеск. Он подозвал к себе Сорок

четвертого и приказал:

— Стой здесь! Я тебя в обиду не дам. Продолжай!

Печатники заерзали на стульях, подались вперед.

Лица у них ожесточились: они внутренне собирались, готовясь к бою. После короткой паузы юноша сказал ровным бесцветным голосом, будто не сознавая весомости своих слов:

— Я новый подмастерье. Из-за незаслуженно плохого отношения ко мне — другого объяснения нет — эти трусы устроили заговор против мастера и хотят его разорить.

Ошеломленные печатники медленно поднимались со своих мест, не сводя негодующих взглядов с Сорок четвертого.

— Заговор устроили, говоришь, — повторил Навсенаплюй, — сукины дети!

В мгновение ока заговорщики выхватили шпаги из ножен.

— Принимаю вызов! — крикнул Навсенаплюй, со звоном обнажил длинный клинок и сделал выпад.

Противники заколебались, отступили, защитник слабых не преминул этим воспользоваться и рванулся в бой с яростью дикой кошки. Печатники, собравшись с духом, пытались защищаться, но где им было устоять перед стремительным напором и натиском его атаки! Навсенаплюй выбивал у них из рук шпаги одну за другой, и вот уже всего два врага остались вооруженными — Кат-ценьямер и Бинкс. Вдруг победитель поскользнулся, упал, и недруги бросились к нему, намереваясь прикончить. У меня все внутри похолодело от ужаса, но Сорок четвертый настиг их одним прыжком, схватил того и другого за горло, и они, разом обмякнув, лоя ртом воздух, повалились на пол. Мгновение — и Навсенаплюй был на ногах, готовый к бою, но бой кончился. Заговорщики признали себя побежденными — все, кроме двух, лежавших без сознания. Они пришли в себя минут через десять, не раньше, и сидели с ошалелым видом, полагая, вероятно, что их сразила молния; боевой дух в них угас, так что и сдаваться не было нужды. Катценьямер и Бинкс, потирая шеи, пытались припомнить, что с ними произошло.

Мы, победители, взирали на них сверху вниз, военнопленные угрюмо стояли в сторонке.

— Как ты их одолел? — удивлялся Навсенаплюй. — Каким оружием?

— Голыми руками, — ответил я за Сорок четвертого.

— Голыми руками? Ну-ка покажи руки, парень! Гм... мягкие и пухлые, как у девчонки. Бросьте шутить! Какая сила в этих ручонках? В чем тут хитрость?

— Сила не его собственная, сэр, — объяснил я. — Его повелитель, маг Балтасар, дает ему силу колдовством.

Вот теперь Навсенаплюй все понял.

Заметив, что печатники, стоявшие в сторонке, подбирают свои шпаги, Навсенаплюй приказал Сорок четвертому отобрать у них шпаги и принести их ему. Он хмыкнул, вспомнив, как ловко Сорок четвертый разделался с врагами и наказал:

— Будут сопротивляться, убеди их тем же способом. Но печатники не сопротивлялись. Когда Сорок четвертый свалил груды шпаг на стол, Навсенаплюй спросил:

— Парень, ведь ты не был в заговоре, почему же ты, обладая волшебным даром, не выступил против них?

— Никто бы не поддержал меня, сэр.

— Веская причина. Но теперь здесь я. Подойдет такая поддержка? Будешь воевать?

— Да, сэр.

— Значит, решено. Я буду правым флангом армии, а ты — левым. Как тебя зовут?

— № 44, Новая Серия 864962, — ответил юноша в своей непосредственной манере.

Навсенаплюй, вкладывавший шпагу в ножны, замер на месте, потом спросил:

— Что ты сказал?

— № 44, Новая Серия 864962.

— И это твое имя?

— Да, сэр.

— Бог ты мой, вот так имечко! Поскольку рукопись идет в печать, давай сократим его до Сорок четвертого, а остальное сохраним в нерассыпанном наборе и пустим за полцены. Согласен?

— Согласен.

— А вы, парни, подходите ближе. Сорок четвертый продолжит свой рассказ о заговоре. Давай, Сорок четвертый, не стесняйся, выкладывай все начистоту.

Сорок четвертый поведал, что случилось в замке, и никто его не прервал. Когда он кончил свой рассказ, Навсенаплюй помрачнел лицом: он понял, что положение трудное, такого он и представить себе не мог; судя по всему, положение было просто безнадежное. У печатников все козыри на руках. Как ему либо кому другому спасти мастера от разорения? Печатники прочли эту мысль на лице Навсенаплюя и глазели на защитника слабых с насмешкой, которую не выражали в словах потому лишь, что не имели оружия. Навсенаплюй, размышлявший, что предпринять, чувствовал на себе их взгляды, колючие, как иголки. После некоторого раздумья он сказал:

— Дело обстоит так: по закону гильдии мастер не имеет права прогнать Сорок четвертого, следовательно, это исключается. Если Сорок четвертый остается, вы отказываетесь работать, мастер не сможет выполнить контракт и разорится. Вы бьете любую карту, ясно как божий день.

Признав этот факт, Навсенаплюй заговорил о деле и умолял печатников сжалиться над мастером, добрым, справедливым мастером, безупречным, щедрым мастером. Разве он виноват, что ему так не повезло? Ведь сам мастер никогда никого не обижал и, окажись он на их месте, посочувствовал бы, а вот они...

Пришло время остановить защитника, иначе его речь произведет впечатление на заговорщиков; Катценъямер так и сделал.

— Хватит лить патоку, кончай болтать. Мы твердо стоим на своем, а кто распустит слюни, пусть пеняет на себя.

Глаза Навсенаплюя полыхнули огнем.

— Вы отказываетесь работать? Очень хорошо! — заявил он. — Я не могу вас убедить, не могу заставить работать, но голод заставит! Я запру вас в типографии, поставлю стражей, а кто выйдет, получит по заслугам!

Печатники поняли, что их бьют их же оружием: они знали Навсенаплюя — он свое слово сдержит, к тому ж он отнял у них шпаги и теперь стал хозяином положения. Даже у Катценъямера, внезапно получившего шах и мат, был озадаченный вид; он обычно за словом в карман не лез, а теперь не знал, что и сказать. Повинуясь приказу, заговорщики гуськом двинулись в типографию под присмотром Сорок четвертого и Навсенаплюя — он нес шпаги и поддерживал тишину и порядок. Вдруг он крикнул:

— Стой! Одного не хватает! Где Эрнест Вассерман? Оказалось, тот улизнул, когда Сорок четвертый повел рассказ о том, что случилось в замке. Но вот послышались шаги — похоже, Эрнест возвращался. Он вошел, пошатываясь, бледный как полотно, рухнул на стул и простонал:

— Боже мой!

Печатники, позабыв о приказе, окружили Эрнеста и нетерпеливо расспрашивали, какая с ним приключилась беда. Но он был не в состоянии отвечать на вопросы и лишь повторял, дрожа и стеноя:

— Не спрашивайте! Я был в типографии. Боже, боже мой!

Ничего вразумительного они так и не услышали — поняли только, что нервы у него сдали и он разваливается на части. Потом все устремились в типографию — впереди Навсенаплюй, за ним, оглашая топотом мрачные коридоры замка, остальные. В типографии нас ожидало зрелище, от которого впору было окаменеть на месте: станок с бешеной скоростью, точно дьявол, выбрасывал отпечатанные листы — быстрее, чем их можно было сосчитать; они сыпались как снег, но ни одной живой души рядом не было!

И это еще не все, я не рассказал и половины. Вся прочая типографская работа шла полным ходом, хотя в типографии не было ни одного печатника! Мы видели, как губка, поднявшись со своего места, погрузилась в таз с водой, проплыла по воздуху и, остановившись в дюйме над доской с использованным набором, выжала из себя воду, смочила наборную гранку и отлетела в сторону; невидимый печатник, знаток своего дела, выбросил шпоны из набора так быстро, что они градом посыпались на верстальный стол; на наших глазах набор уплотнился, литеры придвинулись ближе друг к другу. Потом примерно пять дюймов набора отделилось от общей массы и поднялось в воздух; литеры приняли вертикальное положение на невидимом безымянном пальце печатника, как на подставке; затем они переместились через комнату, задержались над наборной кассой и с быстротой молнии ударили по ячейкам — казалось, снова посыпался град. За какие-то доли секунды пять дюймов набора распределились по ячейкам, и их место заняли пять новых, через одну-две минуты в каждой ячейке лежала гора мокрого шрифта, и работа закончилась.

В других случаях верстатки зависали над ящиком со шпациями; в воздухе возникали строки, набранные вразрядку и выключенные, а линейка скользила так быстро, что и моргнуть не успеешь; мгновение — и верстатка заполнена, еще мгновение — и она высыпается на наборную доску! Десять минут — набор закончен, касса пуста! Мы едва успевали следить за всем тем невероятным, невозможным, что творилось в типографии.

Все операции совершались с головокружительной быстротой и в гробовой тишине. Смотришь на неустанно работающий пресс и кажется, что шуму от него, как от толпы мятежников, но тут же спохватываешься, что это всего-навсего иллюзия — пресс не издает ни звука, и тогда душу стискивает жуткий цепенящий страх, какой всегда вызывает у человека сверхъестественная сила. Невидимки заполняли пробельным материалом промежутки между полосами, заключали формы, разбирали формы, несли под пресс вновь сфальцованные листы и извлекали оттуда старые; все вокруг пребывало в движении; невидимки непрестанно сновали взад и вперед, тем не менее не было слышно ни шага, ни произнесенного слова, ни шепота, ни вздоха — стояла самая что ни на есть неживая, гнетущая тишина.

Под конец я заметил, что одной операции недостает — пробные оттиски не делаются и корректура не читается! О, это были мастера, настоящие мастера! Взвзвись за дело, они выполняли его безукоризненно, и в корректуре просто не было надобности.

Испугались ли мы? Еще бы! Страх парализовал нас, мы не могли двинуться с места или осенить себя крестным знаменем, силы оставили нас. Мы смотрели во все глаза, как знакомые предметы проплывали по воздуху без всякой поддержки, выполняя свою сложную работу без видимой помощи, — страшное и захватывающе интересное зрелище! Мы не могли от него оторваться!

Примерно через полчаса разбор шрифта, раскладка его по кассам и набор закончились. Одна за другой прекращались операции. Наконец оборвался и мощный круговорот печатного станка; невидимые руки извлекли форму, вымыли ее, невидимые руки выскребли и смазали маслом матрицу, повесили на крючок рамку. Никакого движения в типографии больше не ощущалось, все замерло, повсюду царил беззвучная пустота, могильная тишина. Она длилась

несколько леденящих душу минут, потом от самой дальней кассы донесся звук — приглушенный, едва слышный и в то же время резкий, скрипучий, саркастический — скрежещущий звук линейки, которой водят по перегородкам кассы, и в лад ему — невнятное хихиканье полдюжины невидимок. «Сухой дребезжащий смех мертвых», — подумал я.

Через минуту что-то холодное скользнуло мимо меня. Я ощутил на щеке не дуновение ветра, а именно холод. То, что это был один из призраков, мне не надо было растолковывать: такой сырой могильный холод от живого человека не исходит. Мы отпрянули, давая дорогу призракам. Они неторопливо прошли мимо нас, и по холоду, исходившему от каждого, мы насчитали, что их было восемь!

Мы вернулись в гостиную встревоженные и огорченные. Весть о приключившемся в типографии уже облетела весь замок, и вскоре явились бледные и перепуганные дамы и слуги, выслушав очевидцев происшествия, они лишились дара речи, что, впрочем, было не так уж плохо.

Но зато развязали языки печатники. Они смело предложили выдать астролога церкви: пусть его сожгут на костре, в своей последней проделке он зашел слишком далеко. Явился и астролог; когда он услышал ужасные слова про церковь и костер, ноги у него сделались точно ватные, он плюхнулся на стул рядом с фрау Штейн и Марией и взмолился о снисхождении. Куда только подевались его гордыня и самодовольство! Уж как он юлил и притворялся, будто и не вызывал этих призраков и вообще не имеет никакого отношения к происшедшему. Казалось, он говорит чистую правду, как тут не поверить, да и вид у мага был такой несчастный, что я разжалобился, хоть никогда не любил Валтасара Хофмана, а только восхищался его искусством.

Но Катценъямер, Бинкс и Мозес Хаас взяли за астролога крепко; Мария и ее мать попытались вступить за него, но их слова никого не убедили, и астрологу их заступничество не помогло. Навсенаплюй сразил беднягу наповал самым мудрым и метким, по мнению присутствующих, замечанием:

— Валтасар Хофман, чудеса сами собой не совершаются, ты это прекрасно знаешь, да и мы тоже. Ты единственный в замке способен совершить чудо. Так, во-первых, чудо свершилось, во-вторых, оно не произошло само собой, в-третьих, ты здесь. Только дурак не сообразит, что к чему.

— Ну, теперь уж он не отопрется! — вскричали разом одни.

— Молчит, видно, крыть нечем! — надсаживались другие. — На костер его!

Бедный старик разрыдался. Разъяренные печатники бросились к нему, намереваясь схватить и выдать инквизиции, но Навсенаплюй снова проявил замечательную мудрость.

— Погодите, — сказал он, — это не лучший выход из положения. Маг в отместку не снимет с замка чары, а ведь нам нужно, чтоб он их снял, верно?

Окружающие шумно выразили свое одобрение. Да, что ни говори, Навсенаплюй был редкого ума человек, золотая голова.

— Ну что ж, — продолжал Навсенаплюй. — Балтасар Хофман, у тебя есть шанс спасти свою жизнь. Ты счел нужным отрицать самым бессовестным образом, что причастен к колдовству. Ладно, пусть будет так. Но вот что мы хотим знать: если мы оставим тебя в покое, обещаешь ли ты, что такое не повторится?

Астролог тотчас воспрянул духом, будто восстал из мертвых, и закричал, полный радости и благодарности:

— Обещаю, обещаю! Это не повторится!

В настроении присутствующих произошла резкая перемена. Все радовались, зловещая тень страха больше не омрачала лица печатников; они ликовали, точно приговоренные к смерти, получившие весть о помиловании. Навсенаплюй взял с мага честное слово, что он не покинет замок, а напротив — станет его охранять, потом добавил:

— У заклятия была зловещая цель. Думаю, невидимки набирали и печатали чуть, чтоб израсходовать весь запас бумаги, сорвать контракт и разорить мастера Хорошо бы кто-нибудь сходил в типографию и посмотрел, что они там натворили. Ну, кто отважится?

Тишина, следовавшая за этим предложением, заполнила бы пространство в четыре акра и ушла на фут в глубину. И она все ширилась и сгущалась, ширилась и сгущалась. Наконец Мозес

Хаас спросил в своей подлой манере:

— А сам почему не идешь?

Все невольно улыбнулись: Мозес попал в точку. Навсенаплюй изобразил на лице улыбку, но она получилась какая-то неискренняя

— Скажу откровенно: не иду, потому что боюсь, — признался Навсенаплюй. — Кто здесь самый храбрый?

Почти все тотчас указали на Эрнеста Вассермана и засмеялись. Навсенаплюй приказал Эрнесту идти в типографию, но тот возмутился и презрительно сказал:

— Катись ты ко всем чертям, и не подумай.

Тогда старая Катрина заявила с гордостью:

— Вы позабыли про моего мальчика. Уж он-то, конечно, не струсит Сходи, посмотри, что там творится, дитя мое.

Печатники думали, что Сорок четвертый откажется, но я был уверен, что он пойдет, и не ошибся; Сорок четвертый тут же вскочил, и когда он поравнялся с Навсенаплюем, тот погладил его по голове и похвалил за смелость Эрнест Вассерман, переполнившись злобой и завистью, поджал губы и пробурчал:

— Я вовсе не струсил, просто я вам не слуга и не собираюсь выполнять вздорные приказания каждого встречного и поперечного.

На сей раз печатники не засмеялись и не произнесли ни слова, но, вытацив линейки, принялись скрести ими по дереву; шум поднялся, будто завывала целая стая шакалов. Таким способом можно сломить упрямство самого упрямого осла; Эрнест Вассерман сдался и больше не подавал голоса. А Сорок четвертый явился с удивительной вестью:

— Невидимки закончили работу, она выполнена в совершенстве. Контракт спасен.

— Сообщите новость мастеру! — крикнул Навсенаплюй.

Маргет поднялась и тотчас поспешила гонцом к дяде; он понял из ее рассказа, что спасены и честь его, и кошелек; радостное известие подействовало на него, точно бальзам, — не прошло и часа, а уж он был если не совсем здоров, то близок к выздоровлению.

Ну а печатники — вы и представить себе не можете, как вытянулись у них лица, по крайней мере, у зачинщиков забастовки, — будто им поднесли горькую пилюлю. Катценъямер так и сказал:

— Нам придется проглотить эту пилюлю, но извольте ее подсластить. Мы проиграли, но забастовка продолжается — ни один из нас не выйдет на работу, пока нам не заплатят за вынужденное бездействие. Печатники одобрительно захлопали

— Что значит «за вынужденное бездействие»? — поинтересовался Навсенаплюй.

— Деньги за время забастовки, потраченное впустую.

— Черт возьми! Вот это наглость! Мастер должен заплатить вам за время, что вы потеряли, пытаясь его разорить! Кстати, а о нем вы подумали? Кто ему оплатит вынужденное бездействие?

Зачинщики забастовки презрительно хмыкнули, а Бинкс сказал, что это к делу не относится.

И мы, сами понимаете, оказались в тупике. Работы было хоть отбавляй, но уроки наборщика висели на крючках в типографии, а печатники туда — ни ногой; и близко, говорят, не подойдем, пока нам не заплатят простой и пока священник не проведет в типографии духовной дезинфекции. И мастер стоял на своем: вымогательству, говорит, потворствовать не намерен.

Вот и вышло, что сражение закончилось вничью. Мастер изрядно потеснил печатников, но и они кое-что за собой удержали. Это был гадкий, унижительный, но — ничего не поделаешь —

факт, и печатники злорадствовали вволю.

В это время у Катценъямера блеснула мысль; возможно, она и другим приходила в голову, но он первый ее изрек.

— Слишком многое здесь принимается на веру, — сказал он с усмешкой, — между тем у нас нет заслуживающих уважения свидетельских показаний, не говоря уж о доказательствах. Откуда нам знать, что контракт выполнен и мастер спасен?

Вот это был удар так удар! Всем было ясно, что Катценъямер попал в цель, можно даже без преувеличения добавить — в самую точку! Дело в том, что предубеждение против Сорок четвертого было очень сильное. Навсенаплюя выбили из седла — сразу было видно. Он не знал, что сказать в ответ, — и это было видно. Лица у всех выражали разные чувства: у бунтовщиков — ликование, у их противников — растерянность. У всех, за исключением двух — Катрины и Сорок четвертого. У Сорок четвертого сделалось бесстрастное деревянное лицо, а у Катрины глаза готовы были выпрыгнуть из орбит.

— Я понимаю, на что ты намекаешь, Катценъямер, скверная пивная бочка, хочешь сказать, что мой мальчик — лжец. Почему ж ты не пошел в типографию, чтоб удостовериться? Отвечай — почему сам не пошел?

— Нужды нет, если хочешь знать. Мне это ни к чему. Мне безразлично, выполнен контракт или нет.

— Тогда держи язык за зубами и не суйся в чужое дело! Ты не осмелишься туда пойти, вот что! Да как тебе не совестно, здоровенный подлый трус, обзывать бедного одинокого мальчишку лжецом, если у самого духу не хватает пойти и доказать, что он лжет!

— Слушай, женщина, если ты...

— Не смей называть меня женщиной, подонок! — Катрина грозно надвинулась на Катценъямера. — Попробуй еще раз так ко мне обратиться — на куски разорву!

— Беру свои слова обратно, — промямлил задира, и многие вокруг засмеялись.

Катрина обвела всех вызывающим взглядом — ну, кто отважится?

Решимости у забастовщиков заметно поубавилось. Ответа не последовало. Катрина вперила глаза в Навсенаплюя. Он медленно покачал головой:

— Не отрицаю — храбрости мне недостает.

Катрина гордо распрямила плечи, вскинула голову.

— Царица небесная не оставит меня своей милостью, — сказала она. — Посмотрю сама. Идем, Сорок четвертый!

Они отсутствовали довольно долго. Когда же наконец вернулись, Катрина сказала:

— Мальчик мне все показал и объяснил. Как он говорил раньше, так и есть. — Катрина снова испытующе заглянула каждому в лицо и, остановившись на Катценъямере, поставила точку. — Ну а теперь у какого подлеца хватит мужества сомневаться?

Таких не нашлось. Кое-кто из наших сторонников засмеялся; Навсенаплюй расхохотался, грохнул кулаком по столу, как председатель суда, объявляющий приговор:

— Дело решено!

Назавтра день выдался хмурый. Печатники на работу не вышли и слонялись по замку, раздраженные и угрюмые. Они и между собой почти не разговаривали, только перешептывались, сойдясь парами. А общий разговор вообще не клеился. За столом, как правило, молчали. Вечером не было обычного веселого сборища. Как только часы пробили десять, все разбрелись по комнатам, и замок показался мне мрачным и пустым.

На следующий день все повторилось сначала. Где бы ни появился Сорок четвертый, его всюду встречали злобными угрожающими взглядами; я боялся за него и хотел выказать ему сочувствие, но робел. Я пытался внушить себе, что избегаю Сорок четвертого для его собственного блага, но совесть моя воспротивилась. Он же, как обычно, и не подозревал о том, что на него глядят исподлобья, с ненавистью. Сорок четвертый порой бывал так же невообразимо глуп, как и умен в других случаях. Маргет сочувствовала ему и всегда находила для него доброе слово, Навсенаплюй проявлял к нему добросердечие и отзывчивость; стоило ему перехватить чей-нибудь свирепый взгляд, направленный на Сорок четвертого, он тут же бранил злоумышленника и подзадоривал его проделать еще раз то же самое, но никто не соглашался. И, разумеется, Катрина всегда оставалась верным другом Сорок четвертого. В общем, только эти трое и выражали свои дружеские чувства к нему, по крайней мере, публично.

Так продолжалось до тех пор, пока заказчики не пожаловали за своим товаром. Они привезли с собой фургон, и он стоял на большом внутреннем дворе замка. У хозяина голова пошла кругом. Кто уложит книги в ящики? Печатники? Конечно, нет. Они отказались работать и заявили, что не позволят работать и другим. Навсенаплюй умолял Катценъямера помочь, но тот грубо его оборвал:

— Не трать слов попусту. Контракт все равно не выполнен.

— Выполнен! — взорвался Навсенаплюй. — Я сам упакую книги, и мы с Катриной погрузим их в фургон. Пусть я приму смерть от призраков или сам умру от страха — это лучше, чем видеть ваше торжество. К тому же Дева Мария, покровительница Катрины, защитит нас обоих. А может, и вы одумаетесь. Я не теряю надежды.

Печатники украдкой посмеялись. Они поняли, что Навсенаплюй погорячился. Он не учел размера и веса ящиков. Навсенаплюй тотчас разыскал мастера и поговорил с ним наедине.

— Все улажено, сэр. Если вы...

— Прекрасно! И, признаюсь, неожиданно. Что же печатники...

— Нет, не согласились, но это не имеет значения, все улажено. Занимайте гостей часа три — угощайте, поите вином, развлекайте, а я за это время погружу товар в фургон.

— Спасибо, большое спасибо, они просидят в замке всю ночь.

Навсенаплюй пришел в кухню и рассказал обо всем Катрине и Сорок четвертому, а я как раз оказался там и слышал его рассказ. Катрина согласилась проводить его в типографию и оставить там под защитой святой девы, пока он упакует Библии, а через два с половиной часа, когда обед подойдет к концу и гостей обнесут вином и орехами, она вернется и поможет погрузить ящики в фургон. Потом они ушли, а я остался: ни один забастовщик не отважился бы сунуть нос в кухню, и я мог побыть с Сорок четвертым наедине, не подвергаясь опасности. Потом вернулась Катрина.

— Этот Навсенаплюй — настоящее сокровище, — заявила она. — Вот уж мужчина так мужчина, не чета восковой кукле, вроде Катценъямера. Уж не хотелось мне его огорчать, но не снести нам ящиков. Их пять, и каждый впору тащить на носилках, а носилки с таким грузом дай бог четверым поднять. К тому же...

— Вас двое, и я за двоих управлюсь, — прервал ее Сорок четвертый. — Вы оба возьметесь за одну сторону, а я — за другую. Силы мне не занимать.

— Мальчик мой, не мозоль глаза людям, вот что я тебе скажу. Только и думаешь, как бы их еще подразнить, олух ты эдакий! Мало тебе, что все они против тебя злобу таят?

— Но ведь вам двоим не снести ящиков, а если ты позволишь мне помочь...

— Шагу отсюда не сделаешь! — Катрина стояла, исполненная решимости, уперев руки в бока.

В глазах Сорок четвертого отразилась печаль, разочарование, и Катрина растрогалась. Она упала перед ним на колени, обхватила ладонями его лицо.

— Поцелуй свою старую мать и прости, — прошептала она.

Сорок четвертый так и сделал, и в ее глазах, всего минуту тому назад метавших громы и молнии, заблестели слезы.

— Кроме тебя у меня нет никого в целом мире, я готова целовать землю, по которой ты ходишь, разве я могу спокойно смотреть, как ты без всякой нужды губишь себя? Боже тебя упаси выходить отсюда. — Катрина вскочила и принесла пирог. — Вот, отведайте с Августом моего пирога и будьте хорошими мальчиками. Такой — с пылу, с жару — только в кухне и съешь, а иной пирог в темноте за деревяшку примешь, все зубы об него обломаешь.

Мы с жадностью набросились на пирог, и беседа на какое-то время замерла. Потом Сорок четвертый сказал с легким укором:

— Мама, ведь мастер дал слово, ты сама знаешь.

Катрина была потрясена. Она бросила работу и задумалась. Опустилась, поджав ноги под скамейку, привалилась спиной к кухонному столу и, сложив руки на груди, уткнулась в них подбородком, несколько раз прошептала:

— Да, верно, он дал слово.

Наконец Катрина поднялась, потянулась к кухонному ножу и принялась с ожесточением точить его о кирпич. Легонько потрогала острие большим пальцем.

— Я все поняла, — сказала она, — нужны два помощника. Навсенаплюй уговорит одного, а я возьму на себя другого.

— Вот теперь я доволен! — с жаром молвил Сорок четвертый, и Катрина расцвела от счастья.

Мы остались одни в уютной теплой кухне, болтали, играли в шашки и ждали, когда придет Катрина и позовет нас к столу обедать: она была для нас самым дружелюбным и приятным сотрапезником. Время шло, и в малой трапезной замка, где мастер обыкновенно принимал почетных гостей, становилось все оживленнее; когда слуга заходил в трапезную или выходил оттуда, до нас доносились взрывы смеха, обрывки песен; судя по всему, гости уже насытились. Потом, когда и мы с Катриной почти закончили обед, явился Навсенаплюй, голодный и измученный; он уже упаковал пять ящиков и был полон решимости довести дело до конца — сказал, что и куска в рот не возьмет, пока не погрузит все ящики в фургон. Катрина поделилась с ним своей задумкой — уговорами и силой раздобыть двух помощников. Навсенаплюй одобрил ее план, и они ушли. Навсенаплюй сказал, что печатники будто сгнули; наверное, попрятались на большом дворе, опасаясь, как бы кто подкупом не подбил двух грузчиков фургона помочь с переноской грузов, поэтому он предложил сначала наведаться туда.

Катрина наказала нам оставаться на кухне, но мы нарушили ее запрет, как только они скрылись из виду. Потайными ходами мы пробрались на внутренний двор раньше их и затаились возле самого фургона. Вознице и двум грузчикам принесли поесть, они в свою очередь накормили и напоили лошадей в конюшне, а теперь гуляли по двору и болтали, выжидая, когда загрузят фургон. Тут появились наши друзья Катрина и Навсенаплюй и

принялись тихо расспрашивать грузчиков, не видели ли они поблизости наших печатников; не успели приезжие и рта раскрыть, как произошло нечто неожиданное — в пятидесяти ярдах от нас замаячили какие-то смутные длинные тени, они гуськом двигались в нашу сторону. Постепенно в свете звезд и тусклых фонарей очертания их становились все отчетливей, и оказалось, что это люди, согнувшиеся под тяжестью груза. Вот это да! Каждый тащил на плечах по ящику! Но самое поразительное, что в первом поравнявшемся с нами мы узнали Катценъямера! Навсенаплой был вне себя от радости и восторженно заявил, что всячески приветствует такую перемену, а Катценъямер что-то проворчал в ответ — оно и понятно: с таким грузом на плечах не до разговоров

За ним шел Бинкс! Снова похвалы и ворчание в ответ Следующим был Мозес Хаас — подумать только! Потом — Густав Фишер! А за ним, замыкая процессию, — Эрнест Вассерман! Навсенаплой глазам своим не поверил, так и сказал:

— Не верю, не могу поверить! Неужели это ты, Эрнест?

Тот послал его к черту, и Навсенаплой успокоился: значит, глаза его не обманывают Это любимое выражение Эрнеста, по нему его можно узнать и в темноте

Катрина словно языка лишилась — стояла, как замороженная. Лишь когда все ящики погрузили в фургон и печатники скрылись один за другим, она обрела дар речи.

— Вот так штука, — молвила она.

Навсенаплой догнал печатников и предложил устроить товарищескую пирушку, но они огрызнулись в ответ, и он отказался от своей затеи.

Фургон уехал на рассвете; почетные гости встали поздно, позавтракали, расплатились с хозяином и, распив на прощанье бутылочку, отбыли в своем экипаже. Часов в десять довольный мастер, исполненный добрых чувств, готовый на радостях всех простить, собрал печатников в гостиной и произнес речь, превознося до небес благородство людей, которые в последний момент побороли в себе желание сотворить зло, загрузили прошлым вечером фургон и таким образом спасли честь и благополучие этого дома, и он продолжал в том же духе со слезами на глазах, и голос его срывался от волнения; печатники смотрели с недоумением то друг на друга, то на мастера, открыв рты, не в силах вымолвить ни слова. Наконец Катценъямера прорвало:

— Что за черт! Да ты, похоже, бредишь наяву? С ума рехнулся! Мы для тебя ничего не спасали. Мы никаких ящиков не переносили. — Тут Катценъямер совсем разошелся и ударил кулаком по столу. — Скажу больше — мы устроили так, чтобы никто другой не грузил ящики в фургон, пока нам не заплатят за вынужденное бездействие'

Только представьте себе эту картину! Мастер был потрясен и минуту-две не мог выговорить ни слова, потом в грустной растерянности обернулся к Навсенаплюю:

— Не приснилась же мне вся эта история. Ты сказал, что они...

— Конечно. Я сказал, что они загрузили ящики.

— Нет, вы послушайте! — закричал Бинкс, вскакивая с места.

— ...Вон те пятеро. Катценъямер шел первым, а Вассерман замыкающим...

— Наверняка знаю, как то, что моя фамилия Вас...

— . И каждый нес на плечах ящик

Тут все остальные печатники повскакали с мест, и последние слова Навсенаплюя потонули в оскорбительном хохоте, из которого вырывался лишь бычий рев Катценъямера:

— До чего договорился этот помешанный! Каждый нес на плечах по ящику! А ящик-то весит пятьсот фунтов!

Все подхватили заключительные слова Катценъямера как рефрен и выкрикивали их во все горло. Навсенаплюй оценил убийственную силу аргумента и сразу растерялся; печатники это заметили и набросились на него — кричали, чтоб он очистил душу от греха и умерил свою фантазию. Положение было трудное, и Навсенаплюй не пытался изобразить, будто дело обстоит иначе.

— Я не понимаю, не могу объяснить, в чем тут секрет — тихо, почти униженно признался он. — Сознаю, что человеку не под силу поднять такой ящик в одиночку, и все же — это верно, как то, что я стою перед вами, — я сказал правду: я видел вас своими глазами. Видела и Катрина. Видели не во сне, а наяву. Я говорил с каждым из пяти. Я видел, как вы загрузили ящики в фургон. Я...

— Прошу прощения, — вмешался Мозес Хаас, — никто не загружал ящики в фургон, никому не удалось бы это сделать. Фургон все время был у нас под присмотром. Воображение у джентльмена так разыгралось, что он, чего доброго, скажет, будто фургон уже уехал и мастеру заплатили? — добавил он с ехидцей.

Шутка была удачной, и все охотно посмеялись.

— Да, мне заплатили, — без тени улыбки подтвердил мастер.

— Разумеется, фургон уже уехал, — сказал Навсенаплюй.

— С меня хватит! — заявил Мозес, поднявшись с места. — Игра зашла слишком далеко и ведется весьма бесцеремонно. Пошли, повторишь свои слова перед фургоном. Если у тебя хватит нахальства проделать это, следуй за мной.

Мозес направился к двери, печатники толпой кинулись за ним: всем было любопытно посмотреть, что произойдет. Я заволновался. Моя уверенность в правоте Навсенаплюя уже наполовину улетучилась; поэтому я испытал огромное облегчение, убедившись, что двор пуст.

— Ну а теперь что скажешь? Есть там фургон или нет? — допытывался Мозес.

Навсенаплюй просветлел лицом: он вновь обрел былую уверенность.

— Не вижу фургона, — сказал он удовлетворенно.

— Не может быть! — хором воскликнули печатники.

— Может, нет там никакого фургона.

— Вот дьявольщина! Чего доброго и мастер скажет, что и он не видит фургона?

— Разумеется, не вижу, — подтвердил мастер.

— Нда-а, — протянул Мозес, чувствуя, что зашел в тупик. Потом вдруг его озарила новая идея. — Послушай, Навсенаплюй, ты, кажется, глазами слаб, пошли вместе, на ощупь удостоверись, что фургон на месте, и тогда посмотрим, хватит ли у тебя духу играть эту дешевую комедию!

Они быстро прошли в глубь двора; вдруг Мозес, побледнев, остановился.

— Боже правый, уехал, — прошептал он.

На лицах печатников отразилось волнение. Они крадучись, испуганные и молчаливые, обошли двор, потом замерли, и у всех разом вырвался стон:

— Фургона нет, он нам привиделся!

Они подошли к месту, где он стоял, и, осенив себя крестным знаменем, зашептали молитвы. Потом их обуял гнев; разъяренные, они вернулись в гостиную и послали за астрологом. Печатники обвинили его в нарушении клятвы и пригрозили выдать церкви; и чем больше он молил о пощаде, тем больше его запугивали; наконец они схватили мага, намереваясь выполнить угрозу, и тогда маг обещал покаяться, если ему сохранят жизнь. Кайся, сказали печатники, но, если твое покаяние неискренне, тебе же хуже будет.

— О, как мне тяжело говорить об этом! О, если б мне было дозволено промолчать! Какой позор! Какая неблагодарность! О, горе мне, горе! Я вскормил змею на своей груди! Этот юноша — мой ученик. Я так любил его и в порыве своей глупой любви научил нескольким заклинаниям — теперь он пользуется ими во вред вам и на мою погибель!

Я обмер; печатники бросились к Сорок четвертому с воплями:

— Смерть ему! Смерть!

Но мастер и Навсенаплюй ворвались в круг, оттеснили нападавших и спасли Сорок четвертого. Навсенаплюй образумил толпу такими словами:

— Какой смысл убивать мальчишку? Он не источник колдовства, какой бы силой он ни обладал, он получает ее от своего господина, мага. Как вы думаете, неужели маг, если пожелает, не может обратить свои чары на Сорок четвертого, отнять у него колдовскую власть и тем самым обезвредить?

Разумеется, все думали точно так же, разумеется, им это было ясно с самого начала, и они выразили свое согласие с Навсенаплюем. А он проявил еще большую мудрость: не показал и виду, что сам все знает, а дал им возможность проявить сообразительность в том малом, что осталось на их долю. Он попросил печатников помочь ему в трудном деле — придумать какой-нибудь толковый и удобный выход из этой крайности. Печатники были польщены и, хорошенько поразмыслив, разрешились идеей — надо взять с мага клятву, что он отнимет у парня колдовскую власть, а если что-нибудь подобное повторится, они передадут мага церкви.

Навсенаплюй заявил, что ничего лучше и не придумаешь, и расхваливал идею, словно в ней заключалась бог весть какая мудрость; а ведь он предложил ее сам, и она пришла бы на ум любому, включая кошку; другого сколько-нибудь разумного выхода просто не было.

Печатники связали мага клятвой, он дал ее не задумываясь и тем самым снова спас свою шкуру. А потом маг напустился на Сорок четвертого — корил его за неблагодарность и, постепенно распалившись, дал волю своему гневу — ну и взбучил же он беднягу, ну и пропесочил! Никогда еще я не испытывал такой жалости к человеку, думаю, и другим было жаль парня, хотя они наверняка сказали бы: поделом ему, нечего с ним миндальничать, это послужит ему хорошим уроком на будущее И, глядишь, спасет от большой беды. А под конец маг такое устроил, что я похолодел. Величественно, как и подобает магу, прошествовал через всю гостиную, дав понять — что-то сейчас произойдет! Остановился в дверях, обернулся к нам — все затаили дыхание, — указал на Сорок четвертого длинным пальцем и произнес с расстановкой, чеканя каждое слово:

— Посмотрите на него — вот он сидит перед вами — и попомните мои слова, в них мой приговор. Я заколдовал его, если он вздумает помериться со мной силой и причинить вам вред, пусть только попробует. Даю торжественное обещание — в тот день, когда он добьется своего, я в этой самой гостиной наложу на него заклятие — сожгу на медленном огне, и он на ваших глазах обратится в пепел.

Маг удалился. Боже мой, какого страху он нагнал на печатников! Они побледнели и онемели от ужаса. Одно было приятно — все лица выражали сочувствие. Согласитесь, это в человеческой природе — жалеть врага, попавшего в большую беду, даже если гордость не позволяет вам подойти к нему при всем народе и открыто заявить о своих чувствах. Но мастер и Навсенаплюй подошли к Сорок четвертому, утешали его, молили поостеречься, бросить колдовство, не подвергать себя опасности; и даже Густав Фишер отважился, проходя мимо, кинуть ему доброе слово. Вскоре новость облетела весь замок, прибежали Маргет и Катрина; они умоляли Сорок четвертого о том же, и обе ударились в слезы; Сорок четвертый вдруг стал центром внимания, героем, и Эрнест Вассерман буквально лопался от зависти; по глазам было видно, как ему хотелось, чтоб и его приговорили жариться на медленном огне, коль за это причитается такая слава.

Катрина не раз перечила магу и, казалось, совсем не боялась его, но сейчас решалась судьба ее любимца, и вся ее храбрость пропала. Она отправилась к магу, и обитатели замка повалили за ней всей оравой; Катрина упала перед ним на колени и заклинала мага смилостивиться над ее мальчиком, отучить его от колдовства, быть ему заступником и хранителем, спасти от огня. Все были тронуты до слез. Все, кроме Сорок четвертого. На него снова нашла дурь, и он проявил ослиное упрямство. Дурь всегда находила на него в самое неподходящее время. Катрина забеспокоилась: она опасалась, что видимое безразличие ее любимца плохо подействует на мага, а потому сама сделала за Сорок четвертого все, что полагалось по этикету: выразила почтение, заверила, что он будет отныне вести себя хорошо, и поскорей выпроводила его из комнаты мага.

По— моему, никто не вызывает у людей такого жгучего интереса, как человек, обреченный на сожжение. Нам пришлось отвести Сорок четвертого к больной сестре мастера, чтобы она посмотрела на него, вообразила, как он будет выглядеть, обратившись в головешку, и содрогнулась. Больная не испытывала такого душевного подъема долгие годы, и он благотворно подействовал на ее почки, позвоночник, печень и прочие органы, привел в действие маховик - сердце и улучшил кровообращение; женщина призналась, что это зрелище принесло ей больше пользы, чем корзина лекарств, принятых за неделю. Она умоляла Сорок четвертого зайти к ней снова, и он обещал, что навестит ее, если сможет. А не сможет, так пришлет ей горстку своего пепла; в душе он был хороший парень, очень внимательный к другим.

Все жаждали наглядеться на Сорок четвертого, даже те, кто раньше не проявлял к нему никакого интереса — Сара, Байка, их подружки-служанки, а также Фриц, Якоб и другие слуги.

Они заботливо опекали Сорок четвертого, проявляя к нему доброту и ласку, при всей своей бедности дарили ему разную мелочь, выражали сочувствие со слезами на глазах. Он же, неблагодарный, не пролил и слезинки. Когда на него находит дурь, из него и гидравлическим прессом не выжмешь влаги, чтобы замутить зеркальце.

Даже фрау Штейн и Мария преисполнились любопытства к Сорок четвертому — смотрели на него во все глаза и спрашивали, как ему живется — при таких видах на будущее, разумеется; и говорили с ним ласковей, чем прежде, намного ласковей. Просто удивительно, какую славу вдруг снискал Сорок четвертый теперь, когда над ним нависла смертельная угроза, вздумай он сойти с правильного пути. Хоть я почти все время был с ним рядом, никто из печатников не бросил на меня косога взгляда, и я уж давно позабыл про страх. А воспоминания о том ужине в кухне! Катрина вложила в него столько сил и пролила столько слез, что он получился отменно соленным и вкусным

Она приказала нам молиться всю ночь, чтоб господь не ввел Сорок четвертого во искушение, и обещала, что сама помолится за него. Мне не терпелось обратиться с молитвой к богу, и мы отправились в мою комнату.

Ко когда мы пришли ко мне, я понял, что Сорок четвертый и не собирается молиться: он был полон других, мирских интересов. Это поразило и очень обеспокоило меня, ибо вызвало сильное подозрение — оно закрадывалось мне в душу и ранее, но я каждый раз отмахивался от него, — что Сорок четвертый равнодушен к вере. Я спросил его в упор, и он признался — да, равнодушен. Можете представить себе, какой это был удар для меня, как я оцепенел от ужаса, — всего не передашь словами.

В ту страшную минуту в моей жизни произошел перелом, я стал другим человеком и решил посвятить свою жизнь, отдать все силы и способности, которыми меня наградила господь, спасению заблудшей души Сорок четвертого. И тогда я ощутил священный трепет, и душа моя исполнилась благодати; я понял, что господь благословил меня. Он подал мне знак, такой же верный, как если бы говорил со мной. Он сделал меня своим орудием в этом великом деле. Я знал, что он все может, и всякий раз, когда мне нужен будет совет и наставление, я стану искать их в молитве, и господь не оставит меня своей милостью, я знал.

— Идея мне ясна, — сказал Сорок четвертый, легко вторгаясь в мои мысли. — Это будет что-то вроде фирмы — глава наверху, а чужие руки, загребающие жар, — внизу. И так — в каждом приходе, пожалуй, даже — в каждой семье. Попробуй найди хотя бы одного благоглупого фанатика, который без партнерства с богом (по мнению фанатика!) пытался бы спасти какую-нибудь мелкую благоглупую душонку, заслуживающую спасения не больше, чем он сам, набей из него чучело и выставь в музей — там его место.

— Умоляю тебя, не произноси такие слова, они ужасны и богохульны. И к тому же несправедливы: господу дороги все его чада, и нет души, не заслуживающей спасения.

Но мои слова не подействовали на Сорок четвертого. У него было веселое, шаловливое настроение, а когда он находился в таком настроении, его невозможно было заинтересовать чем-нибудь серьезным. Что бы я ни говорил, он отвечал вежливо, но с совершенно безразличным видом — о такой-де мелочи можно поговорить в другое время, но не сейчас. Он употребил именно это слово, очевидно, вовсе не вдумываясь в его оскорбительный смысл. И добавил нечто совсем непонятное:

— Сейчас я живу не в этом столетии, а в другом, более интересном для меня. Ты молись, если хочешь, не обращай на меня внимания, а я позабавлюсь интересной игрушкой, если это тебе не помешает

Он достал из кармана маленькую стальную вещицу и, бросив небрежно: «Это варган, на нем играют негры», прижал ее к зубам и принялся извлекать из нее низкие вибрирующие звуки; это была чрезвычайно веселая зажигательная музыка, и в такт этой музыке он запрыгал, задергался, неистово закрутился, завертелся по всей комнате, будто хотел вызвать у меня головокружение и помешать молитве своим диким танцем; время от времени он выражал избыток радости неистовым воплем или подпрыгивал вверх тормашками и с минуту кружился в воздухе колесом, да так быстро, что у меня все сливалось перед глазами, я лишь слышал жужжанье. Но и тогда он выдерживал такт своей музыки. Это был сумбурный, неистовый языческий танец.

Сорок четвертый не устал от него, а, напротив, почувствовал прилив сил. Подошел, сел рядом, положил мне руку на колено в своей подкупающей манере, улыбнулся чарующей улыбкой и спросил, как мне понравился танец. Он, несомненно, ждал похвалы, и я должен был ее высказать. У меня не хватило духу обидеть его: он так наивно гордился своей сумасшедшей выходкой. Я не смог признаться ему, что это было недостойное, отвратительное зрелище и я с

трудом выдержал его до конца — нет, я принудил себя назвать его танец «дивом, самым совершенством» — бессмысленные слова, но Сорок четвертый, ждавший похвалы, принял их за чистую монету и не заметил, что у меня на душе; лицо его засветилось радостной благодарностью, он порывисто обнял меня:

— Как приятно, что тебе так понравился мой танец. Я его повторю.

И он, отпусти ему грехи, господи, снова вихрем закружился в пляске. Я и слова вымолвить не успел — и поделом мне. Но если рассудить, моей вины здесь не было: откуда мне было знать, что вымученную похвалу Сорок четвертый сочтет за приглашение возобновить дьявольскую оргию? И он бесновался и бесновался, надрывая мне душу, пока у меня не потемнело в глазах и не стало мочи терпеть; я не выдержал и заговорил, умоляя его остановиться, не истязать себя. Это была еще одна ошибка Проклятие, Сорок четвертый решил, что я волнуюсь за него!

— Не беспокойся обо мне! — весело крикнул он, пролетая мимо — Сиди себе и наслаждайся зрелищем, я могу забавлять тебя всю ночь!

Я решил, что пора подыскать место, где можно спокойно умереть, и уж поднялся было, но вдруг услышал его огорченный голос:

— Неужели ты уйдешь?

— Уйду.

— Зачем? Не уходи, прошу тебя.

— А ты уймешься? Не могу спокойно смотреть, как ты сам истязает себя до смерти.

— Даю слово, я нисколько не устал. Ну, прошу тебя, останься!

Разумеется, мне хотелось побыть с ним, но если он уgomонится и будет вести себя по-человечески, даст мне передышку. Какое-то время у него это в голове не укладывалось: ведь он порой бывал туп, как осел; потом наконец в его больших кротких глазах мелькнуло обиженное выражение

— Август, тебе, кажется, надоело это представление?

Конечно, я был готов сквозь землю провалиться от стыда и, движимый горячим желанием поскорей загладить обиду и вновь увидеть радость на лице приятеля, чуть было не позабыл про всякую осторожность и здравый смысл и едва не брякнул, что хочу увидеть танец снова. Но удержался: ужас перед тем, что неизбежно последует за моим предложением, сковал мне язык и спас жизнь. Я ловко увернулся от прямого ответа и, вскрикнув «Ох!», принялся шарить у себя за воротом в поисках воображаемого паука. Сорок четвертый тут же позабыл про обиду и проникся сочувствием ко мне. Запустил руку мне за шиворот, провел растопыренными пальцами по шее и вытащил трех пауков — настоящих, а ведь я только сделал вид, будто у меня за шиворотом ползает паук. В такое время года — на дворе стоял февраль — как-то не верилось, что в замке водятся какие-нибудь пауки, кроме воображаемых.

Мы приятно провели время, но никакой беседы о вере и боге не получилось: стоило мне подумать о чем-нибудь в этом роде, он тотчас читал мою мысль и подавлял ее той удивительной силой, которая всегда позволяла ему уловить и не дать мне высказать мысли, которые ему не нравились. Несомненно, мне с ним было интересно, уж так он был устроен — с ним всегда было интересно. Вскоре я с удивлением обнаружил, что мы уже не у меня в комнате, а у него. Я даже не заметил, когда это случилось. Изумительная волшебство, но на душе у меня стало тревожно.

— Все оттого, что я, по-твоему, поддаюсь искушению, — усмехнулся Сорок четвертый.

— Я уверен, что так оно и есть Ты, можно сказать, уже поддался искушению и делаешь то, что маг запретил.

— Ерунда! Я подчиняюсь ему лишь тогда, когда сам захочу. А заклятиями пользуюсь, чтобы позабавиться и досадить магу. Знаю все его фокусы, да и такие, которые ему неведомы. Это мои собственные фокусы, я их купил, купил у мастера поискуснее, чем Валтасар. Когда я

показываю свои фокусы, маг недоумеваает: вроде бы сам повелел выполнить, внушил мне умение, а когда повелел и что внушил — не помнит, а потому теряется в догадках и волнуется — думает, что у него неладно с головой Балтасар вынужден приписывать себе все, что я делаю: ведь он с этого начал и теперь не может выйти из игры, я же, показывая его фокусы и свои собственные, намерен создать ему славу, о которой другие второсортные маги и астрологи не смеют и мечтать.

— Странная идея! Почему ты не создашь такую славу себе?

— Мне она не нужна У нас дома не терпят суеты, для меня здесь все суета сует

— Где твой...

Он пресек мой вопрос Я в глубине души мог только мечтать, чтоб мне выпала на долю слава, которую Сорок четвертый так презирал. Но он не обратил внимания на мою мечту, я вздохнул и распрощался с ней. К тому же мной овладело беспокойство.

— Сорок четвертый, я наперед знаю — не создашь ты ему славу великого мага, а на себя навлечешь страшную беду, — сказал я. — Ты не готов предстать перед Всевышним. Ты должен готовиться, Сорок четвертый, поверь мне. Дорог каждый миг Мне бы так хотелось, чтоб ты стал христианином, может, попробуешь?

Сорок четвертый покачал головой.

— Я затоскую, — молвил он

— Затоскуешь? Почему?

— Я окажусь в полном одиночестве.

Я подумал, что шутка неудачная, и сказал ему об этом прямо в глаза. Но Сорок четвертый ответил, что это вовсе не шутка, когда-нибудь он вникнет в суть дела и докажет, что прав, а сейчас у него есть забота поважнее

— Прежде всего я должен еще выше поднять репутацию астролога, — пояснил он безмятежно и добавил в своей добродушной манере: — У тебя есть одна черта, мне не свойственная, — страх. Ты боишься Катценъямера и его приятелей и потому не решаешься побыть у меня, сколько тебе хочется или сколько мне хочется Но этому легко помочь. Я научу тебя превращаться в невидимку, когда тебе вздумается, при помощи магического слова Назови его мысленно, произнести его ты не сможешь, это дано лишь мне. Прибегай к магическому слову, когда захочешь исчезнуть или стать видимым снова.

Сорок четвертый молвил магическое слово и исчез. Я был так потрясен, так благодарен ему, так счастлив, что с минуту не мог сообразить, где я, и готов был на голове ходить от радости, потом увидел, что сижу у камина в собственной комнате, но, хоть убей, не помнил, как там очутился.

Пока меня не сморил сон, я, как всякий другой мальчишка на моем месте, только и делал, что исчезал и становился видимым вновь, получая от этого огромное удовольствие. Я очень гордился собой, почитал себя выше любого мальчишки на свете, что было очень глупо: ведь я не изобрел это искусство, а получил его в дар, смог им воспользоваться, и в этом не было моей заслуги. Такое же чувство превосходства появилось бы у каждого мальчишки, привали ему такая удача. Впрочем, это не мои мысли, я позаимствовал их позднее, из вторых рук, откуда и берутся все мудрые мысли, если верить Сорок четвертому. И вот я в последний раз стал невидимкой и, довольный, улегся спать, так и не помолившись за приятеля, а ведь его жизнь была в опасности. Я об этом даже не вспомнил

Сорок четвертому даровали право ношения шпаги и тем самым причислили к благородному сословию. Повинуясь своему капризу, он и вырядился, как джентльмен. Сорок четвертый был умен, но очень неуравновешен, стоило ему заметить возможность подурачиться, он ее не упускал ни за что на свете просто не мог удержаться и не испробовать себя в новой роли. Все вокруг его не любили, но враждебность и острая неприязнь мало помалу смягчились за последние сутки из-за смертельной угрозы, нависшей над ним, а он решил выбрать именно это время, чтоб своим щегольским видом оскорбить печатников, показать, что он им ровня. Ведь он не просто оделся, как подобает благородному, — не! Лучший наряд Навсенаплюя не шел ни в какое сравнение с блеском и великолепием нового облачения Сорок четвертого, а что касается остальных, он отличался от них, как царь Соломон от скромных, хоть и изящных лилий. Представляете — высокие расшитые ботинки со шнуровкой, на красных каблуках, розовое шелковое трико, бледно голубые атласные штаны по колению, камзол из золотой парчи, ослепительно красная накидка из атласа, кружевной воротник, достойный королевы, изящнейшая голубая бархатная шляпа с длинным пером, прикрепленным к ней булавкой, усыпанной бриллиантами, шпага в золотых ножнах с рукояткой, украшенной драгоценными камнями. Таков был наряд Сорок четвертого, а выступал он точно князек, «танцующий кекуок», как он сам выразился. Красив он был, как картинка, а уж доволен собой, как властелин мира. В руке держал кружевной платочек и то и дело прикладывал его к носу, словно герцогиня. Он, вероятно, думал, что вызовет всеобщее восхищение, и каково же было его разочарование, когда печатники набросились на него с оскорблениями и насмешками, наградили обидными прозвищами и обвинили в том, что он украл свой наряд. Сорок четвертый защищался, как мог, но голос у него уже дрожал, он мог разрыдаться в любую минуту. Бедняга убеждал печатников, что наряд достался ему честным путем, благодаря щедрости его учителя, великодушного мага, создавшего его из пустоты одним-единственным волшебным словом, ведь маг на самом деле могущественнее, чем они полагают, он не показал миру и половины своих чудес, окажись он сейчас здесь, ему бы не понравилось, что оскорбляют его скромного слугу, не причинившего никому зла, окажись маг здесь, он показал бы Катценъямеру, как обзывать его, слугу мага, вором, да еще грозить при этом пощечиной

— Ах, показал бы, да неужели? Вот он идет, легок на помине, сейчас посмотрим, так ли уж дорог магу его бедный слуга! — с этими словами Катценъямер вlepил парню такую пощечину, что ее было слышно на сто ярдов вокруг Сорок четвертый отброшенный в сторону мощным ударом, увидел мага и взмолился

— О, мой благородный хозяин, величайший маг и астролог, я прочел в твоих глазах приказ и должен подчиниться такова твоя высочайшая воля, но умоляю, заклинаю тебя, не принуждай меня исполнить твою волю, сделай это сам, своей справедливой рукой

С минуту маг стоял молча, не сводя глаз с Сорок четвертого, мы тоже глазели на него затаив дыхание, под конец Сорок четвертый отвесил магу почтительный поклон

— Ты хозяин, твоя воля — закон, я подчиняюсь, — произнес он и, обернувшись к Катценъямеру, сказал — Не пройдет и несколько часов, ты увидишь какую беду навлек на себя и других Сам убедишься, что нехорошо обижать хозяина.

Вы, конечно, видели, как из-за набежавшей тучки разом мрачнеет залитое солнцем поле? Точно так же неясная угроза, словно туча, омрачила лица печатников. Ничто не действует так угнетающе, как ожидание грядущего несчастья, напророченного могущественным злым колдуном. Страх закрадывается в душу и ширится, ширится; воображение рисует все новые

кошмарные картины, и вот уже страх завладевает вами целиком; вы теряете аппетит, вздрагиваете от каждого звука, боитесь собственной тени.

Женщины послали старую Катрину к Сорок четвертому — может, он внемлет ее мольбе и скажет, что должно случиться, это хоть немного облегчило бы им тяжкое бремя ожидания, но Катрина не нашла ни его, ни мага Оба так и не появились до конца дня. За ужином почти не разговаривали, никто не касался этой темы. После ужина печатники много пили в одиночку, вздыхали, машинально поднимались со своих мест, беспокойно ходили из угла в угол, снова садились, ничего вокруг себя не замечая, порой горестно вскрикивали. В десять часов никто не пошел спать: видно, смятенные души, страшись одиночества, искали поддержку и утешение в близости друзей по несчастью. В половине одиннадцатого никто не двинулся с места. В одиннадцать повторилась та же картина. Было бесконечно грустно сидеть в тусклом свете мигающих свечей, в тишине, нарушаемой лишь случайными звуками, особенно гнетущей от завывания зимнего ветра в башнях и зубчатых стенах замка.

Это случилось в половине двенадцатого. Печатники сидели задумчивые, погруженные в собственные мысли и вслушивались в погребальную песнь ветра — Катценъямер, как все прочие. Послышалась чья-то тяжелая поступь, и печатники испуганно устремили глаза к двери — там стоял двойник Катценъямера! Все разом ахнули, едва не погасив свечи, и застыли, не в силах оторвать от него взгляда. Двойник был в рабочем костюме печатника и держал в руке урок. Оба Катценъямера были похожи как две капли воды — в зеркале не различишь! И в гостиную Катценъямер вошел, как мог войти только Катценъямер, — решительно, нагло, недружелюбно поглядывая по сторонам, — вошел и протянул урок подлинному Катценъямеру:

— Как набирать текст — со шпонами или без шпон?

Какое — то время Катценъямер не мог опомниться от удивления, но быстро совладал с собой.

— Ах ты, колдовское отродье! — крикнул он, вскакивая с места, — да я тебя...

И он перешел от слов к делу, ударив двойника кулаком в челюсть; такой удар-скуловорот мог раздробить любую челюсть, но двойник был цел и невредим; сойдясь носом к носу, они закружились, пританцовывая, молотя друг друга, как стенобитные машины. Окружающие глядели на дерущихся со смешанным чувством благоговейного удивления и восторга, втайне уповая на то, что ни один из них в живых не останется Драка продолжалась с полчаса, потом оба выбились из сил и плюхнулись на стулья — окровавленные, задышающиеся

Некоторое время они сидели молча, потом подлинный Катценъямер спросил:

— Послушай, парень, ты кто такой? Отвечай!

— Я — Катценъямер, старший печатник, вот кто, если хочешь знать.

— Врешь! Ты что в типографии делал — набирал?

— Да, набирал.

— Черти бы тебя подрали! Кто тебе позволил?

— Сам себе позволил. Думаю, этого достаточно.

— Как бы не так! Ты состоишь в цехе печатников?

— Нет

— Тогда ты — штрейкбрехер! Бей его, ребята!

Печатники охотно пустили в ход кулаки и, распалившись от злобы, ругались на чем свет стоит — слушая их, можно было получить образование по этой части Через минуту от двойника осталось бы мокрое место, но он крикнул.

— Ребята, на помощь!

В то же мгновение в гостиную ввалились двойники всех прочих и ввязались в драку!

Игра закончилась вничью. Этого следовало ожидать: каждый дрался со своим двойником,

ровней во всем, и они не могли одолеть друг друга. Потом дерущиеся сделали попытку разрешить спор поединком на шпагах, но и поединок закончился вничью. Противники разошлись в разные стороны и, обмениваясь колкостями, обсуждали обстановку. Двойники отказались вступить в цех, но и бросать работу не собирались; ни просьбы, ни угрозы на них не действовали. Переговоры зашли в тупик. Если двойники останутся в замке, печатники лишатся средств к существованию — теперь они не могли получить деньги за простой! Непокосимость их позиции, которой они так чванились, оказалась вымыслом. Это было яснее ясного, и, чем глубже они проникались сознанием своей ненужности, тем отчетливей понимали, что это всего лишь вымысел. Положение было тяжелое и прискорбное. Вы скажете, что печатники получили по заслугам. Что ж, вы правы, но разве этим все сказано? Думаю, нет. Печатники всего лишь люди, сделавшие глупость и заслужившие наказание, но отнимать у них за это хлеб насущный было бы слишком суровой карой. Но дело обстояло именно так. Беда пришла, как снег на голову, и печатники не знали, как быть. Чем больше они толковали о ней, тем страшней и непоправимее она им казалась. А кара — несправедливой: в разговоре выяснилось, что двойникам не нужно ни есть, ни спать: за них обоих это делают печатники, но когда едят и спят двойники, печатники, черт возьми, не получают никакой пользы! И еще: печатники остались без работы и средств к существованию, но тем не менее поят и кормят за свой счет незваных гостей, штрейкбрехеров, не получая взамен — дьявол их побери — даже благодарности! К тому же оказалось, что штрейкбрехеры не берут плату за работу в типографии — им, видите ли, она ни к чему, они и требовать плату не станут. Наконец Навсенаплюю пришла в голову идея достойного, по его мнению, компромисса, и приунывшие печатники подошли послушать, в чем она заключается. Идея была в том, чтобы двойники работали, а печатники получали плату и честно выполняли свой долг — ели и спали за двоих. Сначала все решили, что идея блестящая, но потом тучи снова скрыли небосвод — нет, такой план никуда не годился: по законам цеха, печатники не могли сотрудничать со штрейкбрехерами. От заманчивой идеи пришлось отказаться, и все приуныли пуще прежнего. Тем временем Катценъямер пытался утопить свою боль в вине, но спиртное на него не действовало — ему все казалось, что он выпил мало, хоть вино уже не шло в горло. Беда в том, что он был полупьян: двойник получил свою половину и тоже был полупьян. Катценъямер сообразил, в чем дело, очень обиделся и попрекнул своего двойника, моргавшего в блаженном забытии:

— Никто тебя не приглашал выпить, ты просто дурно воспитан. Порядочные люди так себя не ведут.

Одни жалели двойника: ведь он был не виноват, другие вовсе его не жалели, им было стыдно за него, он раздражал их своим видом. Сам же двойник оставался безучастным, по-прежнему молчал и, сонно помаргивая, блаженно улыбался.

Переговоры продолжались, но, разумеется, безуспешно. Положение оставалось безвыходным и отчаянным. Разговор перешел на мага и Сорок четвертого; тут же послышались призывы свести с ними счеты. Когда страсти накалились до предела, появился маг; он шел, как во сне; увидев двойников, маг остолбенел, либо искусно изобразил удивление. Печатники, глядя на него, очень рассердились.

— Это твоя дьявольская работа, — негодовали они, — нечего разыгрывать удивление.

Злобные взгляды и грозный вид печатников испугали мага, он сразу с неподдельным жаром заявил о своей непричастности к этому делу; он-де отдал Сорок четвертому совсем другое распоряжение, и, оказавшись ученик здесь, он тотчас обратился бы в прах и пепел за то, что употребил во зло его, мага, заклятия; потом маг сказал, что должен немедленно разыскать ученика, и повернул назад, но печатники преградили ему путь.

— Пытаешься улизнуть, но тебе это не удастся! — вскипел Катценъямер. — Можешь не

сходя с места вызвать сюда проклятое отродье, мы это знаем не хуже тебя. Вызови его сюда и уничтожь, либо — клянусь честью! — я предам тебя святой инквизиции!

Угрозы было достаточно. Бедный старик побледнел и затрясся, потом поднял руку, произнес какие-то непонятные слова, и в тот же миг — «Бум!» — ударил гром и перед нами возник Сорок четвертый, веселый, изящный, нарядный, как мотылек!

Все в ужасе кинулись к магу, чтобы воспрепятствовать казни; в душе никто не желал смерти парню, они только думали, что желают; послышался крик, и влетела Катрина с развевающимися седыми волосами; на мгновение нас да и все вокруг скрыла кромешная тьма, потом взорам предстала стройная фигура в центре круга — живой факел, полыхающий ослепительно-белым пламенем; миг — и Сорок четвертый обратился в пепел, и мы снова погрузились во тьму. Из нее вырвался плач-причитание, прерванный всхлипом и рыданием.

— Бог дал, бог взял... да святится имя твое! Это Катрина, истинная христианка, прощаясь со всем, что имела, целовала карающую руку.

Назавтра я почти весь день бродил по замку невидимкой — душа не лежала болтать о пустяках, а о том, что занимало всех, — тем более. Я был полон грусти и раскаяния, что свойственно всем в первые дни после утраты близкого человека; в такие дни нам хочется побыть наедине со своим горем; вспоминая о своей неверности в дружбе или любви к навеки ушедшему другу, мы мучаемся запоздалыми угрызениями совести. На моей душе таких прегрешений оказалось больше, чем я полагал. Воспоминания о них преследовали меня неотступно, я повторял с болью в сердце: «О, если бы Сорок четвертый вернулся, я был бы верен ему, я вел бы себя иначе». Сколько раз у меня была возможность помочь ему обрести жизнь вечную, а я каждый раз упускал ее, и вот теперь врата рая закрылись перед ним навеки, и в этом виноват я, где мне теперь искать утешения?

Я возвращался к этой мысли снова и снова, хоть и убеждал себя, что надо думать о чем-нибудь менее мучительном, — к примеру, о том, почему Сорок четвертый поддался искусу преступить границы дозволенного, ведь он прекрасно знал, что поплатится жизнью. Разумеется, я мог ломать себе голову сколько угодно и напрасно, совершенно напрасно, ибо все равно не понимал его поступка. Сорок четвертый был легкомыслен и благоразумием не отличался — что верно, то верно, но мог ли я вообразить, что он полностью лишен всякого благоразумия и готов рисковать жизнью, лишь бы удовлетворить какой-то каприз! А чего, собственно, я добивался такими рассуждениями? А вот чего — приходится признаться — я пытался найти себе оправдание: я бросил Сорок четвертого, когда он особенно нуждался в моей помощи, я дал зарок молиться о спасении его души, да все тянул время, а потом и вовсе позабыл про него. Я метался в поисках оправдания, но каждый раз на моем пути вставал с гневным упреком дух Сорок четвертого, я все больше сознавал свою вину.

Никто в замке не остался безучастным к горю Катрины, почти все пришли к ней со словами утешения. Меня среди них не было: я боялся, что она спросит, молился ли я, выполнил ли свое обещание, или начнет благодарить за молитвы; ведь Катрина не сомневалась, что я сдержу свое слово. Я сидел невидимкой, пока другие утешали ее, и каждая слеза убитой горем женщины была мне в укоризну и отзывалась болью в моем сердце. Горе Катрины было неутешно. Она плакала и, сетуя на мага, приговаривала: прояви Балтасар великодушие — оно бы ничего ему не стоило — и подожди священника, чтоб он отпустил грехи ее мальчику, теперь все было бы хорошо, он был бы счастлив на небесах, она — на земле. Так нет! Маг обрек нераскаявшегося парня на божью кару, огонь ада, а тем самым и ее обрек на вечные адские муки: она будет их терпеть и в раю, глядя, как он страдает там, в преисподней, не в силах утолить его жажду хоть каплей воды!

Сердце Катрины терзало и то, что мальчик умер, не примиренный с церковью; разговор об этом каждый раз вызывал у нее новый поток слез: его пепел нельзя похоронить на кладбище, священник не проводит его в последний путь, не прочтет над ним заупокойную молитву; пепел его, как пепел павшей скотины, недостоин могилы, его просто заруют в землю.

Время от времени с каждой новой вспышкой любви и отчаяния Катрина живописала, какой он был стройный и грациозный; какое у него было прекрасное юное лицо, как он был нежен с ней; вспоминала то одно, то другое, каждый пустячок, сказанный или сделанный ее дорогим, обожаемым мальчиком, ее бесценным сокровищем, память о котором священна для нее отныне и вовеки веков!

Слушать Катрину было выше моих сил; я проплыл невидимкой по воздуху, а потом долго горестно бродил по замку, всюду что-нибудь напоминало мне о Сорок четвертом, бередило

сердечную рану.

Невероятная таинственная трагедия угнетала домочадцев; смутно предчувствуя неотвратимую беду, они бесцельно слонялись по замку и нигде не находили покоя; если и возникал общий разговор, он состоял из рубленых бессвязных фраз: все были поглощены собственными мыслями. Впрочем, если и двойников считать обитателями замка, то сказанное к ним не относится. Трагедия никак на них не повлияла, они вообще не проявляли интереса к окружающим. Двойники прилежно занимались своим делом, и мы встречали их только по пути с работы или на работу; с нами они не заговаривали, лишь отвечали на вопросы. Двойники не появлялись ни в столовой, ни в гостиной; не то чтобы они избегали нас — нет, ничего нарочитого в их поведении не было, просто они не искали встреч с нами. А мы их, естественно, избегали.

Каждый раз, неожиданно встретив своего двойника, я замирал, не смел вздохнуть, а потом ругал себя за трусость, как человек, столкнувшийся со своим изображением в зеркале, которого раньше не заметил.

Конечно, скрыть такое событие, как гибель юноши в таинственном пламени, вызванном колдовскими заклятиями из ада, не удалось. Новость быстро распространилась и вызвала сильное брожение в умах как в деревне, так и за ее пределами; магу было велено тотчас предстать перед судом святой инквизиции. Но он бесследно исчез. Последовал второй вызов с предписанием явиться в течение двадцати четырех часов либо нести наказание за неявку в суд. Мы сомневались, что маг откликнется на эти приглашения, если ему удастся увильнуть.

Как я уже упоминал, в замке весь день царило мрачное настроение. Назавтра ничего не изменилось, все еще больше приуныли из-за приготовлений к похоронам. По церковному установлению похороны происходили в полночь; присутствовали все обитатели замка, кроме больной сестры мастера и двойников. Мы похоронили пепел Сорок четвертого на пустыре в полумиле от замка без молитвы и благословения, если слезы Катрины и наша скорбь не были своего рода благословением покойному. Ночь выдалась ветреная, вьюжная, по черному небу неслись разорванные в клочья тучи. Мы шли с факелами, неровно горевшими на ветру; предав прах земле, мы погасили факелы, воткнув их в свежий могильный холм, и оставили там недолговечным памятником ушедшему.

С тяжким грузом одиночества и отчаяния на душе я вернулся в замок и вошел в свою комнату. Там сидел наш покойник!

Сознание покинуло меня, и я бы упал, но он поднял руку и щелкнул пальцами; это возымело действие — дурнота пропала, и я вернулся к жизни, более того, почувствовал себя бодрее и лучше, чем до тягостных похорон. Я тотчас кинулся прочь со всех ног: всю жизнь я боялся привидений и предпочел бы оказаться где угодно, но не с ним наедине. Меня остановил знакомый голос, звучавший слаще музыки для моих ушей:

— Вернись! Я живой, а вовсе не привидение!

Я вернулся, но мне было как-то не по себе: в голове не укладывалось, что Сорок четвертый снова жив и здоров, хоть я сам в этом убедился, и все было яснее ясного — кошке понятно. Впрочем, кошка и впрямь все поняла. Она лениво вошла в комнату, приветственно помахивая хвостом, но, увидев Сорок четвертого, выгнула спину, задрала хвост и, благочестиво мяукнув, поспешила куда-то по срочному делу; Сорок четвертый засмеялся, позвал ее по имени и что-то объяснил ей на кошачьем языке, потом почесал у нее за ухом, погладил и послал гонцом к другим меньшим братьям; не прошло и минуты, как они ввалились оравой, облепили его со всех сторон, почти скрыв из виду, и, выражая свою радость, заговорили разом — каждый на своем языке; и Сорок четвертый отвечал каждому на его языке, под конец он щедро угостил их всевозможными яствами из моего буфета (там было пусто, хоть шаром покати!), и по его приказу они разошлись, довольные.

К этому времени страх мой улетучился, на душе стало спокойно и легко; я был благодарен судьбе, что Сорок четвертый вернулся, хоть и по-прежнему дивился, как такое могло случиться, умирал он на самом деле, или это был колдовской мираж? Сорок четвертый достал горячий ужин из пустого буфета.

— Нет, не мираж, я действительно умер, — сказал он в ответ на мои мысли и добавил с безразличным видом: — Для меня это суций пустяк, я проделывал такие штуки много раз.

Я и не пытался принять на веру такое безрассудное заявление, но, конечно, не высказал своего мнения. Ужин был выше всяческих похвал, но блюда непривычны для меня. Сорок четвертый сказал, что они иностранные, со всех уголков земного шара. Удивительно, подумал я, но на сей раз, кажется, так оно и было. Среди прочих угощений я отведал дичь, по всей вероятности, утку, приготовленную каким-то диковинным способом, божественную на вкус.

— Нырок, — пояснил Сорок четвертый. — Прямо из Америки.

— А что такое Америка?

— Другая страна.

— Страна?

— Да, страна.

— А где она находится?

— Очень далеко отсюда. Ее еще не открыли Вернее, открыли, но не всю. Откроют будущей осенью.

— А ты

— Бывал ли я там! Конечно, — в прошлом, настоящем и будущем Посмотрел бы ты на Америку через четыре-пять сотен лет! Утка как раз из этого периода. А как тебе понравились двойники?

Вот такая у него была манера разговаривать — мальчишеская; меня раздражали его беспечность и непостоянство, перескакивание с одной темы на другую; так пчела порхает с цветка на цветок — здесь села, там села, улетела. И всегда — только он коснется чего-нибудь интересного, тут же заводит речь о другом. Все это действовало мне на нервы, но я сдержался.

— Двойники занятные, но их недолюбливают: они не хотят вступать в цех, работают даром, печатники недовольны их вторжением. В общем, дело обстоит так: двойников не любят и злятся на мага за то, что он их прислал.

Сорок четвертый, судя по всему, почувствовал злобную радость.

— Прекрасная идея — двойники! — заявил он, потирая руки. — Если ими разумно управлять, они натворят немало бед! Ты знаешь, при всем при том не такие уж они скучные, двойники, ведь они не настоящие люди.

— Господи милостивый, а кто же они тогда?

— Я объясню. Присаживайся поближе к камину.

Мы вышли из-за стола с остатками божественной трапезы и уютно устроились на привычных местах по обе стороны камина; огонь ярко вспыхнул, словно приветствуя нас. Сорок четвертый потянулся к каминной доске и снял с нее штуку, которую я там никогда не видел, — тоненькую тростинку с крошечной чашечкой из красной глины на одном конце и какой-то неведомый мне сухой темный лист. Непринужденно болтая, — я с любопытством наблюдал за ним — Сорок четвертый измельчил сухой лист в порошок и высыпал его из ладони в чашечку, потом взял тростинку в рот и тронул чашечку пальцем, порошок тотчас загорелся, вверх потянулась струйка дыма; я нырнул под кровать, опасаясь, как бы чего не случилось. Но ничего страшного не произошло, и Сорок четвертый уговорил меня вернуться к огню, только я на всякий случай отодвинул свой стул подальше. Сорок четвертый, запрокинув голову, пускал к потолку — одно за другим — колечки сизого дыма; тонкие, просвечивающие, очень красивые на вид, эти колечки вращались, каждое выпущенное им колечко постепенно расширялось, и Сорок четвертый с удивительной ловкостью продувал через него следующее; он явно наслаждался этой игрой, а я — нет: мне было боязно, что он загорится изнутри и взорвется, а пострадает кто-нибудь другой, как бывает во время бунтов и разных волнений. Но мои опасения оказались напрасными, и я более или менее свыкся с его игрой, хотя дым был тошнотворный и терпеть его было невозможно. Удивительно, как сам Сорок четвертый его выносил, да еще, похоже, получал от него удовольствие. Я мучился над этой загадкой и в конце концов решил, что мой приятель отправляет какую-то языческую религиозную службу, а потому снял шапку — не из благоговения, а из осторожности. Сорок четвертый усмехнулся:

— Нет, это всего лишь порок, но отнюдь не религиозный. Он возник в Мексике.

— А что такое Мексика?

— Страна.

— Страна?

— Да, страна.

— Где она находится?

— Очень далеко отсюда. Ее еще не открыли.

— А ты...

— Бывал ли я там? Бывал, и не раз. В прошлом, настоящем и будущем. А двойники — не настоящие люди, а только видимость. Я тебе все объясню.

Я вздохнул, но промолчал. Вечно он обманывает мои ожидания, мне так хотелось послушать про Мексику!

— С двойниками дело обстоит так, — начал Сорок четвертый. — Ты, конечно, знаешь, что в тебе одновременно сосуществуют две личности. Одна — твоя Будничная Суть, она вечно в делах и заботах; другая — Суть Грез, у нее нет обязанностей, ее занимают лишь фантазии, путешествия, приключения. Когда Будничная Суть бодрствует, она спит; когда Будничная Суть спит, Суть Грез управляет всем и делает что ей вздумается. У нее больше воображения, чем у твоей Будничной Сути, а потому ее радости и горести искренней и сильнее, а приключения,

соответственно, — ярче и удивительней. Обычно, когда их собирается целая компания, товарищей или случайных попутчиков, и отправляется в путешествие по всему свету, они великолепно проводят время. Но, как ты сам понимаешь, они лишены плоти, они — только дух. Участь Будничной Сути тяжелей, ее существование тоскливей, ей никуда не деться от плоти, плоть ее обременяет, лишает свободы; мешает ей и собственное бедное воображение.

— Но послушай, Сорок четвертый, вед из плоти и крови?

— Да, но это лишь видимость, их плоть — фикция, созданная магом и мной. Мы высвободили дух тех же печатников и дали их второму «я» независимое существование.

— Как же так, Сорок четвертый? Они дерутся, как все люди, и раны у них кровоточат.

— Мало того, они способны чувствовать. Да, это неплохая работа по оплотнению. Мне еще не приходилось видеть лучшего телесного обличья, созданного заклинанием; но как бы то ни было, все это — мираж, и сними я заклятие, они исчезнут, как огонек задутой свечи. О, это способное племя, воображение у них неиссякаемое. Представь они, что связаны невидимыми путами, из-за которых уходит два часа на набор двух строчек, — так оно и будет; и наоборот — вообрази они, что на набор целой гранки уходит всего полсекунды, так оно и будет! Превосходная братия эти двойники, сто очков вперед дадут тысяче печатников! Если ими умело управлять, они натворят немало бед.

— Но почему ты хочешь, чтобы они натворили бед, Сорок четвертый?

— Только для того, чтобы укрепить репутацию мага Стоит воображению двойников разыграться... О, сколько в нем энергии, как оно действенно! — Сорок четвертый задумался, потом молвил безразлично: — Печатники влюблены в здешних женщин, но не имеют у них успеха, а если повернуть дело так, чтобы двойники... Уже поздно, парень, пора спать — тебе, для меня времени не существует. Ты не находишь, Август, что это прекрасный сервис? Можешь взять его себе. Спокойной ночи! — И он исчез.

Сервис был тяжелый, серебряный, богато украшенный орнаментом; на одном кубке выгравировано: «Кубок Америки», — на других — не понятные мне слова: «Нью-Йорк, Яхт-Клуб, 1903 г.».

Я подумал со вздохом: может, он и на руку нечист? Через несколько дней я стер гравировку — слова, даты — и продал сервис за хорошую цену.

Время шло, и дел у отца Адольфа прибавилось; он теперь возглавлял комиссию, созданную для суда и последующего наказания Балтасара Хофмана, но священнику не везло: ему никак не удавалось напасть на след колдуна. Неудача приводила отца Адольфа в неистовство — он ругался последними словами, запойно пил, но это не приносило облегчения: охота на мага была безуспешной. Желая выместить на ком-нибудь свой гнев, он взялся за бедных двойников — объявил их злыми духами, бродячими дьяволами и своей властью приговорил к сожжению на костре; но Сорок четвертый сказал мне, что не даст двойников в обиду: они-де приносят пользу, укрепляя репутацию мага. Защищал он их на самом деле или нет — неважно, но заступник у них имелся: каждый раз, когда отец Адольф приковывал двойников к столбам, они тут же исчезали, он даже не успевал поджечь костер; двойники тем временем уже трудились в типографии, ничуть не испуганные, даже не взволнованные происшествием. После нескольких осечек отец Адольф пришел в ярость и бросил свою затею: он уже стал посмешищем, все хихикали у него за спиной. Желая скрыть свою досаду, отец Адольф притворился, будто и не собирался сжигать двойников на костре, а хотел лишь припугнуть их; так и быть, он повременит с сожжением, казнь воспоследует, когда он решит, что время настало. Но отцу Адольфу мало кто верил, а Навсенаплюй выказал презрение к его притворству — взял да и застраховал своего двойника от огня. Дерзкий и в высшей степени непочтительный жест очень разозлил отца Адольфа, но он сделал вид, что его это не касается.

Сорок четвертый оказался прав — двойники начали ухаживать за девушками, да так настойчиво, что вскоре оттеснили прежних ухажеров, и те остались с носом; открытая неприязнь приводила к постоянным ссорам и дракам. Вскоре замок превратился в сумасшедший дом.

Взаимной вражде, казалось, не будет конца. Мастер, миротворец по натуре, пытался склонить враждующие стороны к согласию и решить спор полюбовно, но из этого ничего не вышло: несмотря на все его старания, споры и драки продолжались. Мы с Сорок четвертым бродили по замку, видимые друг другу, невидимки для остальных, и наблюдали стычки; Сорок четвертый наслаждался зрелищем, приходил от него в восторг. Что ж, у всякого свой вкус. Я, конечно, не всегда был невидимкой — меня бы хватились — и время от времени показывался печатникам на глаза, чтоб не вызвать подозрений.

Как только предоставлялся удобный случай, я пытался пробудить у Сорок четвертого интерес к жизни вечной. Напрасный труд! Легкомысленный от природы, он, казалось, думал лишь о том, как создать магу еще большую славу. Правда, сам он сказал, что его, кроме мага, занимает еще род человеческий. Он часто злил меня пренебрежительными высказываниями о человечестве. В конце концов, задетый подобным замечанием, я как-то язвительно заметил:

— Сдается мне, ты не очень высокого мнения о роде человеческом. Жаль, что ты принадлежишь к нему помимо своей воли.

С минуту он глядел на меня, явно удивленный, потом спросил:

— Почему ты решил, что я к нему принадлежу?

Эта наглость в вежливой форме настолько взбудоражила меня, что я и сам не знал — то ли злиться, то ли смеяться; смех пересилил, и я засмеялся. Думал, что и он рассмеется в свой черед, но Сорок четвертый и не думал смеяться. Мое веселье его немного обидело, и он сказал с мягким укором:

— Я полагаю, род человеческий по-своему хорош, если все принять во внимание. Но, Август, ведь я ни разу не обмолвился, что принадлежу к нему, не правда ли? Вспомни!

Ошеломленный, я не знал, что ответить. Через некоторое время, еще не оправившись от удивления, произнес:

— Оторопь берет, не пойму, где я, меня словно камнем по голове стукнули. В жизни не испытывал ничего столь поразительного, сногшибательного! Это так ново, необычно, так страшно: человек, в человеческом обличье и все же не человек. Я этого не понимаю, у меня в голове не укладывается, что такое возможно, я и представить себе не могу такое великое непостижимое откровение. Если ты не человек, кто же ты?

— Ах, — вздохнул он, — вот мы и достигли точки, когда слова бесполезны; слово не способно правильно передать даже человеческую мысль; а для мыслей той сферы, что находится, так сказать, за пределами человеческой солнечной системы, оно и вовсе пустой звук. Я буду говорить на своем родном языке, в нем слов не существует. На долю мгновения мой дух обратится к твоему и сообщит ему кое-что обо мне. Не много, ибо многого ты и не сможешь постичь при твоей ограниченной человеческой способности мышления.

Пока он говорил, сознание мое будто осветила внезапная вспышка молнии, и я понял, что Сорок четвертый дал мне мысленное представление о себе самом — вполне достаточное, чтобы я преисполнился благоговейного трепета. И зависти — признаюсь в этом без стыда.

— Отныне то, над чем ты ломал голову, больше не тайна для тебя, — продолжал Сорок четвертый, — теперь ты понимаешь, что для меня нет ничего невозможного: все свои проделки я приписываю магу и тем самым умножаю его славу. Теперь ты понимаешь, что разница между мной и человеком такая же, как между морем и капелькой воды, между светлячком и солнцем, между бесконечно малым и бесконечно великим. Но мы будем приятелями и вволю повеселимся. — Он хлопнул меня по плечу, и лицо его засветилось радушной улыбкой.

Я сказал, что благоговею перед ним и скорей почитаю его, нежели...

— Почитаю, — передразнил он меня, — оставь эту привычку. Солнцу безразлично, почитает его светлячок или нет. Забудь про свое почтение, мы ведь с тобой приятели. Договорились?

Я ответил, что своими словами он ранил меня в самое сердце и мне не до веселья: надо как-то пережить эту боль; потом я умолял Сорок четвертого оставить на время пустые забавы и всерьез, глубоко изучить мой незаслуженно обиженный род, ведь я уверен, что он еще оценит человечество по заслугам и признает достойным высшего и неоспоримого титула, всегда ему принадлежавшего, — Венец Творения.

Мои слова, очевидно, тронули Сорок четвертого, он согласился исполнить мою волю — оставить на время пустые забавы и отдаться всей душой изучению этой маленькой проблемы.

Я был несказанно счастлив и на радостях пропустил мимо ушей необдуманные слова «маленькая проблема», не позволил им отравить мою радость; к тому же не следовало забывать, что он говорил на чужом языке и вряд ли разбирался в тонкостях употребления слов. Какое-то время Сорок четвертый сидел в задумчивости, потом заявил в своей обаятельной серьезной манере:

— Могу с уверенностью сказать, что отношусь без всякого предубеждения как к роду человеческому, так и к насекомым другого рода, я не питаю к ним ни зла, ни отвращения. Мне давно знаком род человеческий, и — поверь, я говорю от чистого сердца — он чаще вызывал у меня жалость, чем стыд за него.

Сорок четвертый произнес свою тираду с таким довольством, будто возносил хвалу человеческому роду. Он, ей-богу, еще ждал благодарности! Но не дождался — я и слова не промолвил в ответ. С минуту длилось тягостное для него молчание, потом Сорок четвертый продолжил свою мысль:

— Я часто посещал этот мир, очень часто. Отсюда ясно, что я всегда интересовался

человечеством, это несомненное доказательство того, что я проявлял к нему любопытство. — Сорок четвертый помолчал, потом глянул мне в глаза с присущей ему самодовольной улыбочкой, всегда претившей мне, и добавил: — В других мирах нет ничего подобного, человечество — нечто единственное в своем роде. Оно во многом чрезвычайно забавно.

Сорок четвертый наверняка полагал, что и на сей раз произнес что-то весьма лестное; он, судя по всему, благодушествовал, как человек, рассыпающий комплименты направо и налево. Я не сдержался и ответил с горькой усмешкой:

— Да, «забавно», как стая мартышек.

Полный провал! До него не дошла моя насмешка.

— Да, люди забавны, как мартышки, — подтвердил Сорок четвертый совершенно серьезно. — Пожалуй, еще забавнее, ведь моральное и умственное кривлянье людей разнообразнее, чем у мартышек, и оттого забавнее.

Тут он явно хватил через край. Я холодно спросил... Но он уже исчез.

Прошла неделя. Где был все это время Сорок четвертый? Что с ним случилось? Я часто заходил к нему в комнату, но она всегда была пуста. Мне очень не хватало Сорок четвертого. Как с ним было интересно; никто не шел с ним в сравнение, но самой замечательной тайной был он сам. И слова, и поступки его были удивительны, а он либо раскрывал тайну наполовину, либо вообще ее не раскрывал. Кто он? Чем занимается? Откуда родом? Как мне хотелось это узнать! Есть ли надежда наставить его на путь истинный? Удастся ли спасти его душу? О, если б это было возможно и я по мере малых сил моих содействовал бы его спасению! И пока я размышлял о нем, он вдруг явился — веселый, разодетый еще ярче, чем в тот день, когда маг предал его огню. Сказал, что побывал «дома». Я тотчас наострил уши, надеясь услышать что-либо любопытное, но увы! Упоминанием дело и кончилось, как будто то, что неинтересно ему, неинтересно и всем прочим. Дурацкая идея, ничего не скажешь! Он был горазд высмеивать умственные способности людей, но ему и в голову не приходило на себя оборотиться. Сорок четвертый, ткнув меня кулаком в бедро, предложил:

— Тебе нужно проветриться, Август. Ты слишком долго сидел взаперти. Я доставлю тебе удовольствие — покажу нечто, делающее честь роду человеческому.

Я был рад и сказал ему об этом — сказал, что очень любезно с его стороны найти нечто, делающее честь роду человеческому, и еще любезнее — сообщить мне об этом.

— Пожалуй, — отозвался он небрежно, не обращая внимания на колкость, — я покажу тебе нечто действительно достойное похвалы. В то же время придется показать и нечто достойное осуждения, но, впрочем, это пустяки, все заложено в природе человеческой. Стань невидимкой!

Я сделался невидимым, и он тут же последовал моему примеру. И вот мы уже парим высоко в небе над покрытыми инеем полями и холмами.

— Мы отправимся в маленький городок в пятидесяти милях отсюда, — сообщил Сорок четвертый. — Тридцать лет тому назад священником там был отец Адольф, тридцати лет от роду. В этом же городе жил и двадцатилетний Иоганн Бринкер с овдовевшей матерью и четырьмя сестрами — трое были моложе его, а одна на пару лет старше — девушка на выданье. Иоганн был подающий надежды художник. Можно сказать, он уже добился успеха: его картина, выставленная в Вене, снискала много похвал и сразу сделала его знаменитым. Семья жила в бедности, но теперь картины Иоганна пользовались спросом, он за большие деньги продал те немногие, что оставались у него дома, и набрал заказов на два-три года вперед. Семья была счастлива: теперь дружбы Бринкеров домогались, их встречали как желанных гостей и конечно же им завидовали, как водится у людей. Ничто так не радует человека, как зависть окружающих.

И вот что случилось. Однажды зимним утром Иоганн катался на коньках и вдруг услышал сдавленный крик, мольбу о помощи. Он увидел, что человек провалился под лед и теперь барахтается, пытаясь удержаться на поверхности; Иоганн понесся к проруби и узнал в тонущем отца Адольфа — тот уже выбился из сил, бестолково барахтаясь в ледяной воде; он не умел плавать. В этих обстоятельствах был только один выход — нырнуть под лед и удерживать голову священника над водой, пока не подоспеет помощь, а она была близка. Подбежавшие люди быстро спасли обоих. Отец Адольф через час был в добром здравии, иное дело — Иоганн. Он вспотел от быстрого бега на коньках, и купание в ледяной воде не прошло для него даром. Впрочем, вот и домишко Иоганна, зайдём — все увидишь своими глазами.

Мы вошли в спальню и огляделись. У очага сидела пожилая женщина с беспредельно грустным лицом; руки ее покоились на коленях, а голова склонилась на грудь, будто от вековой усталости, — поза трагической безысходности была красноречивее слов!

— Та самая сестра-невеста, — беззвучно напомнил мне Сорок четвертый. — Так и осталась старой девой. На кровати полулежал, подпертый подушками, укрытый одеялами седой мужчина, очень старый на вид; заострившееся лицо его искажала гримаса давней непроходящей боли, порою, слегка шевельнувшись, он тихо стонал, и каждый раз легкая судорога пробежала по лицу сестры, словно каждый стон отдавался болью в ее сердце.

— И так — день за днем, вот уже тридцать лет, — прошептал Сорок четвертый.

— Боже мой!

— Истинно говорю тебе — тридцать лет. Он в здравом уме, тем хуже для него, какая жестокость! Иоганн онемел, оглох, ослеп, половина тела у него парализована, а та, что не парализована, — вместилище всех напастей. Рискуя жизнью, он спас своего ближнего. С тех пор он умирает десять тысяч раз!

В комнату вошла еще одна грустная женщина. Она принесла миску жидкой овсянки и с помощью сестры принялась кормить больного с ложечки.

— Август, четыре сестры денно и нощно сидят у постели больного, вот уже тридцать лет они ухаживают за несчастным калекой. Замужество, свой дом, своя семья — не их удел, они отказались от светлых девичьих грез и сами обрекли себя на страдания, чтоб как-то облегчить страдания своего брата. Они уложили его в кровать в радостную утреннюю пору его жизни, в золотую пору расцвета его славы, а теперь посмотри, что с ним случилось. Несчастье разбило сердце его матери, она сошла с ума. Теперь подведем итог — разбитое сердце матери и пять загубленных молодых жизней. И все это для того, чтоб спасти жизнь священнику, который прожил ее в грехе, бесстыдно мошенничая. Пойдем скорей отсюда, а то соблазн подобной награды за доброе дело поколеблет мой здравый смысл и убедит стать человеком!

Летя домой, в замок, я испытывал тяжелое, гнетущее чувство, словно на сердце был камень, потом вдруг в душе моей затеплилась надежда, и я сказал:

— Несчастные будут щедро вознаграждены за все свои жертвы и страдания.

— Может быть, — безразлично бросил Сорок четвертый.

— Я верю — так оно и будет! — настаивал я. — И какое милосердие проявил господь к бедной матери, даровав ей блаженное забытие и избавив от мучений, ведь их под силу вынести только молодым.

— Так ты считаешь, что безумие — благо для нее?

— Да, ведь сердце матери было разбито, и ей не пришлось долго ждать смерти, освободившей ее от всех тягот.

До меня донесся легкий, едва слышный призрачный смех. Потом Сорок четвертый сказал:

— На рассвете я тебе покажу еще кое-что.

Ночь прошла тяжело и беспокойно: мне снилось, что я — член этой несчастной семьи и вместе со всеми терплю муки долгие, тягуче-медленные годы, а дрянной священник, чья жизнь была оплачена ценой наших страданий и невзгод, всегда рядом — насмехающийся, пьяный. Наконец я проснулся и в самом тусклом из холодных серых рассветов увидел человека, сидящего у моей постели, — старого, седого, в грубом крестьянском платье.

— Ах! — восторженно вскрикнул я. — Кто ты, добрый человек?

Это был Сорок четвертый. Он объяснил хриплым старческим голосом, что пришел показаться мне, чтоб я признал его позже. Затем он стал невидимкой, и я, по его велению, — тоже. Вскоре мы проплыли в морозном воздухе над деревней и опустились на землю в открытом поле за монастырем. Кругом никого не было, кроме худой, едва прикрытой лохмотьями старухи, сидевшей на промерзлой земле; она была прикована к столбу цепью, затянутой вокруг пояса. Несчастная едва держала голову: видно, продрогла до костей. Это было очень грустное зрелище — тусклый рассвет, тишина, лишь свистят и шепчутся ветры да кружатся, гоняясь друг за другом над голой землей, снежинки. Сорок четвертый обернулся крестьянином и подошел к старой женщине. Она с трудом подняла веки, увидела перед собой доброе лицо и сказала умоляюще:

— Сжался надо мной! Я так устала и продрогла, и ночь была такая долгая, долгая. Зажги костер и избавь меня от мучений!

— Бедняжка! Я не палач, но скажи, что для тебя сделать, и я сделаю.

Она указала на кучу хвороста:

— Заготовили для меня. Возьми несколько сучков, запали их, глядишь, я и согреюсь. Там не убудет. Того, что останется, с лихвой хватит, чтоб сжечь мое изможденное, высохшее тело. Будь добр, исполни мою просьбу!

— Исполню, — ответил Сорок четвертый, положил перед ней сучок и зажег его прикосновением пальца.

Вспыхнул, затрещал огонь, женщина простерла над ним костлявые руки и глянула на Сорок четвертого с благодарностью, которую невозможно выразить в словах. Было странно и жутко наблюдать, как она радовалась и наслаждалась теплом дерева, припасенного, чтоб обречь ее на ужасную смерть. Наконец, подняв на Сорок четвертого грустный взгляд, она сказала:

— Ты добр, очень добр ко мне, а у меня нет друзей. Я не дурная женщина, ты не думай, что я — дурная, просто бедная, старая и умом повредилась за эти долгие, долгие годы. Они думают, что я — ведьма. Это все священник Адольф, он схватил меня и приказал сжечь на костре. Но я не ведьма, нет, помилуй бог! Ведь ты не веришь, что я — ведьма? Скажи, что не веришь!

— Конечно, не верю.

— Спасибо тебе на добром слове!... Как давно я скитаюсь, как давно у меня нет крыши над головой. Много, много лет.. А ведь когда-то у меня был свой дом, только не помню — где, четыре милых дочки и сыночек — всю душу им отдавала. Как их звали? Как их звали?... Я забыла имена... Все они уже умерли, бедняжки, за эти годы. Если б ты видел моего сына! Он был такой славный, он был художником. О, какие картины он писал! Однажды он спас утопающего или утопающую — не помню, словом, спас жизнь человеку, провалившемуся под лед...

Старуха вдруг утратила нить своих бессвязных, запутанных воспоминаний и только бормотала что-то невразумительное, покачивая головой; взволнованный ее рассказом, я прошептал на ухо Сорок четвертому:

— Ты спасешь ее? Ведь как только отец Адольф узнает, кто она, он освободит старушку и вернет ее в семью. Благодарение господу, стоит только сказать священнику...

— Это невозможно, — ответил Сорок четвертый.

— Невозможно? Почему?

— Ей на роду написано умереть в этот день на костре.

— Да ты откуда знаешь?

Сорок четвертый молчал. Терзаясь неизвестностью, я предложил:

— В крайнем случае, я могу открыть ему глаза. Снова сделаюсь видимым...

— Это не predetermined. Чему не суждено быть, то не сбудется, — прервал меня Сорок четвертый.

Он понес к огню еще один сучок. Вдруг из монастыря выскочил верзила, выбил сучок у него из рук и заорал:

— Что лезешь не в свое дело, старый дурак! А ну-ка, живо подбери сучок и тащи его обратно!

— А если не отнесу, что тогда?

Верзила разъярился: как смеет этот червяк так дерзко с ним разговаривать? Он занес кулачище, намереваясь раздробить наглему скулу, но Сорок четвертый перехватил кулак и стиснул его так, что послышался жуткий звук раздробленных костей. Верзила зашатался и пошел прочь, стоная и ругаясь, а Сорок четвертый подобрал сучок и бросил его в огонь, согревавший старую женщину.

— Становись невидимкой, — зашептал я, — нам надо немедленно скрыться, он скоро...

— Знаю, — усмехнулся Сорок четвертый, — соберет шушеру на подмогу и схватит меня

— Так почему же ты медлишь?

— Зачем скрываться? И это predetermined. Всякому predetermined суждено исполниться. Но ничего плохого не случится.

И служки прибежали — человек шесть, — схватили Сорок четвертого и потащили в монастырь; по дороге они нещадно молотили его кулаками и палками, пока он не обагрился кровью. Я шел следом — дух-невидимка — и ничем не мог ему помочь. Они заточили Сорок четвертого в мрачную келью монастырского подвала, посадили на цепь и заперли дверь, пообещав, что еще займутся им, когда сожгут ведьму. Я был вне себя от беспокойства, он же ничуть не тревожился. Сказал, что использует и эту возможность и приумножит славу мага, распространив слухи, что старый костолом — переодетый астролог.

— Явившись сюда, они увидят лишь лохмотья своего пленника, — объяснил он, — и тогда поверят слухам.

И Сорок четвертый выскользнул из своей одежды, оставив на полу груды лохмотьев. Да, при всем своем легкомыслии он был мастер творить чудеса. Непостижимые чудеса! Мы проскользнули сквозь толстые стены, будто они были из воздуха, и направились за процессией монахов, поющих псалмы, к месту казни. Сюда уже стекался народ, и вскоре он повалил толпами — мужчины, женщины, пожилые и молодые, некоторые несли на руках детей.

Полчаса ушло на подготовку церемонии — место казни обнесли веревкой, чтоб держать зрителей на расстоянии; за оградой установили помост для священника — отца Адольфа. Когда все приготовления закончились, явился и он с внушительной свитой и был торжественно препровожден на помост. Отец Адольф тут же произнес страстную проповедь. Он проклинал ведьм, «друзей дьявола, врагов бога, покинутых ангелами-хранителями, обреченных на адские муки», в заключение гневно осудил ведьму, которую предстояло сжечь, и запретил присутствующим ее жалеть.

Пленница проявляла полное безразличие к проповеди; ей было тепло и уютно, изнуренная

страданиями и лишениями, она склонила седую голову на грудь и уснула. Палачи выступили вперед, подняли несчастную на ноги, крепко стянули цепь на ее груди. Пока подносили хворост, она сонно глядела на людей, столпившихся вокруг, потом голова ее поникла, и она снова погрузилась в сон.

В хворост кинули факел, и палачи, исполнив свою миссию, отошли в сторону. Наступила тишина — ни шороха, ни звука; толпа глазела, раскрыв рты, затаив дыхание; на лицах застыло общее выражение — смесь жалости и ужаса. Странное, поразительное оцепенение длилось не меньше минуты, потом оно было нарушено, и все, у кого билось в груди человеческое сердце, дрогнули: отец поднял малютку дочь на плечо, чтоб она лучше видела костер! Сизый дым окутал дремлющую женщину и поплыл в морозном воздухе; алые языки пламени лизнули хворост снизу, пламя разгоралось все ярче и сильнее; вдруг безмолвие разорвал резкий треск хвороста, пламя взметнулось вверх и опалило лицо спящей женщины, волосы ее вспыхнули, она издала пронзительный отчаянный крик, и толпа отозвалась стоном ужаса.

— Господи! — взмолилась несчастная. — Яви милосердие и доброту к грешной рабе твоей, сладчайший Иисус, да святится имя твое, прими мою душу!

Пламя поглотило жертву, скрыв ее от зрителей. Адольф сурово глядел на плод своих трудов. В задних рядах народ зашевелился; прокладывая себе путь в толпе, к священнику подошел монах с каким-то известием, очевидно, приятным для Адольфа, судя по его жестикуляции.

— Не расходитесь! — крикнул священник. — Мне сообщили, что заклятый злодей астролог, этот сын дьявола, пойман, хоть и принял обличье старого крестьянина, и теперь сидит на цепи в монастырском подвале. Он давно приговорен к сожжению, никакого разбирательства не будет, его час пробил! Развейте по ветру пепел старой ведьмы, расчистите место для нового костра, бегите — ты, ты и ты — тащите сюда колдуна!

Толпа оживилась. Вот это зрелище было им по вкусу! Прошло минут пять, десять... В чем дело? Адольф проявлял все большее нетерпение. Наконец гонцы явились — крайне удрученные. Они сообщили, что астролог исчез — исчез, несмотря на засовы и толстые стены, а в келье осталось лишь его тряпье. И они подняли это тряпье на всеобщее обозрение. Толпа онемела. Она была потрясена и — разочарована. Адольф разразился проклятиями.

— Удобный случай, — прошептал Сорок четвертый, — я обернусь астрологом и еще больше укреплю его репутацию. Только посмотри, какой сейчас поднимется шум!

В следующий момент в гуще толпы началось замешательство; люди в ужасе расступились, и взорам предстал мнимый астролог в сверкающем восточном одеянии; он был бледен от испуга и пытался скрыться. Но скрыться ему не удалось, ибо здесь был некто, похвалявшийся, что не боится ни дьявола, ни его слуг, — Адольф, которым все восхищались. Испуганно отпрянули другие, но не он; Адольф бросился вдогонку за колдуном, поймал его, одолел и громким голосом приказал:

— Именем господа нашего повелеваю тебе — покорись!

Грозное заклятие! Его могучая сила была такова, что «астролог» зашатался и упал, будто сраженный ударом молнии. Я сочувствовал Сорок четвертому совершенно искренне, от всего сердца, и все же радовался, что он наконец изведal на себе могущество господнего имени, над которым он так часто и опрометчиво насмехался. Но теперь каяться поздно, слишком поздно, грех не простится ему во веки веков. Ах, почему он меня не послушался! Тем временем в толпе вовсе не стало трусов. Осмелели все, все жаждали помочь притащить жертву на костер; накинулись на мнимого колдуна все разом, как разъяренные волки, толкали его из стороны в сторону, били кулаками, пинали и всячески поносили; колдун стонал, обливался слезами и молил о пощаде, а священник, ликуя, глумился над ним, похвалялся своей победой.

Колдуна быстро привязали к столбу, разложили под ним хворост и подожгли; бедняга хлюпал носом, плакал, молил сжалиться над ним; в своем роскошном фантастическом одеянии он являл собой полную противоположность бедной смиренной христианке, так храбро встретившей смерть незадолго до него. Адольф воздел руку и торжественно изрек:

— Изыди, проклятая душа, в обитель вечной скорби!

При этих словах плачущий колдун сардонически расхохотался священнику прямо в лицо и исчез, оставив на цепи у столба лишь обвиснувший плащ. Потом я услышал, как Сорок четвертый прошептал мне на ухо:

— Пойдем, Август, завтракать. Пусть эти звери глазают и слушают, раскрыв рты, как Адольф объясняет им необъяснимое — он на такие дела мастер. Пожалуй, к тому времени, как я кончу возиться с астрологом, у него будет блестящая репутация, как ты думаешь?

Значит, он притворялся, что его сразило имя господа, это была лишь богохульная шутка. А я, наивный чудака, принял ее всерьез, поверил в его раскаяние, возрадовался душой. Меня мучил стыд. Стыд за Сорок четвертого, за себя. Поистине, для него нет ничего святого, он фигляр до мозга костей; смерть для него — шутка, его безумный страх, горячие слезы, отчаянная мольба — не более чем грубое пошлое фиглярство! Единственное, что его занимает, — репутация мага, будь она проклята! Я был возмущен до глубины души, мне не хотелось с ним разговаривать, я ничего ему не ответил и ушел; пусть сам с собой без помех обсуждает свой гнусный спектакль, пусть снова его разыгрывает и нахваливает, сколько ему угодно.

Мы сидели у меня в комнате. Сорок четвертый достал из моего пустого шкафа завтрак — блюдо за блюдом, еще дымящиеся, как с огня, и быстро накрыл на стол, не умолкая ни на минуту; он говорил так живо, впечатляюще, зажигательно — ни слова о недавнем происшествии, а все об ароматных кушаньях и странах, где он их заказал, — Китае, Индии. Я проголодался, и разговор, мало сказать приятный — захватывающе интересный, вывел меня из мрачной меланхолии. К тому же на меня целительно подействовала красота дорогого столового сервиза — причудливость его формы, изысканность росписи и, конечно, то, что он, скорей всего, достанется мне

— Горячая кукурузная лепешка из Арканзаса — разрежь ее, смажь маслом, закрой глаза и наслаждайся! Жареный цыпленок под белым соусом из Алабамы. Отведай его и пожалей ангелов: у них нет таких яств. Клубника, еще мокрая от росы, со сливками, тающая во рту, — слова бессильны передать это блаженство! Венский кофе со взбитыми сливками, двумя таблетками сахарина — пей и сочувствуй олимпийским богам, знавшим лишь вкус нектара!

Я ел, пил, наслаждался иноземными диковинами. Поистине я был в раю!

— Я вне себя от счастья, — признался я, — какое упоение!

— Опьянение, — пояснил Сорок четвертый.

Я спросил его про некоторые напитки с диковинными названиями. И снова получил тот же странный ответ — они пока не существуют, они — продукт нерожденного будущего. Вы что-нибудь понимаете? А как мог я это уразуметь? Никто бы не смог. Даже от попытки начиналось головокружение. И все же какое удовольствие произносить эти удивительные названия, будто пробуя их на вкус: «Кукурузная лепешка! Арканзас! Алабама! Прерия! Кофе! Сахарин!» Сорок четвертый, уловив мое недоумение, кратко пояснил:

— Кукурузная лепешка выпекается из кукурузы. Кукуруза известна только в Америке. Америку еще не открыли. Арканзас и Алабама будут штатами и получают свое название через два-три столетия. Прерия — будущее франко-американское название поля, обширного, как океан. Кофе пьют на Востоке, будут пить и здесь, в Австрии, через два столетия. Сахарин — концентрированный сахар. 500:1 — так очарование пятисот девушек концентрируется для молодого парня в его возлюбленной. Сахарин получают не раньше чем через четыре столетия. Как видишь, я даю тебе авансом некоторые привилегии.

— Расскажи мне что-нибудь еще, ну хоть немножечко, прошу тебя, Сорок четвертый! Ты только дразнишь мой аппетит, а я жажду понять, как ты узнал про эти чудеса, как разгадал непостижимые тайны.

Сорок четвертый подумал немного, потом заявил, что вполне расположен ко мне и охотно занялся бы моим просвещением, но не знает, как за него взяться, из-за ограниченности моего ума, убогости духовного мира и неразвитости чувств. Он помянул мои качества вскользь, как нечто само собой разумеющееся — архиепископ мог бы походя бросить такое замечание коту, нимало не заботясь об его чувствах, о том, что у кота другое мнение на этот счет. Я вспыхнул и ответил с достоинством и сдержанным гневом:

— Должен напомнить тебе, что я создан по образу и подобию господу.

— Знаю, — отозвался он небрежно.

Мои слова, по всей вероятности, не потрясли Сорок четвертого, не сломили, даже не произвели на него никакого впечатления. Негодованию моему не было предела, но я не произнес ни звука, полагая, что холодное молчание будет ему укором. Увы! Сорок четвертый и не заметил молчаливого укора, он думал о своем.

— Да, просветить тебя трудно, — молвил он наконец. — Пожалуй, невозможно, надо создавать тебя заново. — Глазами он умолял меня понять его и простить. — Ведь ты, что ни говори, — животное, сам ты это сознаешь?

Мне следовало дать ему пощечину, но я снова сдержался и ответил с деланным безразличием:

— Разумеется. Мы все порой животные.

Я, конечно, подразумевал и его, но стрела опять не попала в цель: Сорок четвертый и не думал, что я его имею в виду. Напротив, он сказал с облегчением, словно избавившись от досадной помехи:

— В том-то и беда! Вот почему просветить тебя так трудно. С моим родом все иначе, мы не знаем пределов, мы способны осмыслить все. Видишь ли, для рода человеческого существует такое понятие, как время [*Советский исследователь творчества М. Твена Н. А. Шогенцукова пишет «решение проблемы времени у него довольно близко данным современной физики. Время носит у Твена не ньютоновский абсолютный, а эйнштейновский относительный характер. Подобно ученым, Твен показывает несовпадение между реальными физическими явлениями и их непосредственным человеческим восприятием Космическая точка зрения, помещение рассказчика в центр метагалактики позволяют Твену передать свое представление о крупномасштабной структуре вселенной».*] вы делите его на части и измеряете; у человека есть прошлое, настоящее и будущее — из одного понятия вы сделали три. Для твоего рода существует еще и расстояние, и, черт подери, его вы тоже измеряете! Впрочем, погоди, если б я только мог, если б я... нет, бесполезно, просвещение не для такого ума, — и добавил с отчаянием в голосе: — О, если б он обладал хоть каким-нибудь даром, глубиной, широтой мышления, либо, либо... но, сам понимаешь, человеческий ум тугой и тесный, ведь не вольешь же бездонную звездную ширь вселенной в кувшин! [*Эта строка связана по смыслу с подзаголовком романа Тем самым Сорок четвертый подчеркивает ограниченность человеческого ума.*]

Ответом ему было мое ледяное оскорбленное молчание; сейчас я и слова не сказал бы, чтоб спасти его жизнь. Но ему было все равно, что происходит в моей душе, он мыслил. Наконец Сорок четвертый заговорил снова:

— Ах, как это трудно! Будь у меня хотя бы исходная точка, основа, с которой начать, — так нет! Опереться не на что! Послушай, ты можешь исключить фактор времени, можешь понять, что такое вечность? Можешь представить себе нечто, не имеющее начала, нечто такое, что было всегда? Попытайся!

— Не могу. Сто раз пытался. Головокружение начинается, как только вообразишь такое.

Лицо Сорок четвертого выразило отчаяние.

— Подумать только, и это называется ум! Не может постичь такого пустяка... Слушай, Август, в действительности время не поддается делению — никакому. Прошлое всегда присутствует. Если я захочу, то могу вызвать к жизни истинное прошлое, а не представление о нем; и вот я уже в прошлом. То же самое с будущим — я могу вызвать его из грядущих веков, и вот оно у меня перед глазами — животрепещущее, реальное, а не фантазия, не образ, не плод воображения. О, эти тягостные человеческие ограничения, как они мешают мне! Твой род даже не может вообразить нечто, созданное из ничего, — я знаю наверняка: ваши ученые и философы всегда признают этот факт. Все они считают, что вначале было нечто, и разумеют нечто вещественное, материальное, из чего был создан мир. Да все было проще простого — мир был создан из мысли. Ты понимаешь?

— Нет. Мысль! Она не материальна, как же можно создать из нее материальные предметы?

— Но, Август, я же говорю не о человеческой мысли, я говорю о себе подобных, о мыслях

богов.

— Ну и что? Какая тут разница? Мысль это мысль, и этим все сказано.

— Нет, ты ошибаешься. Человек ничего не творит своей мыслью, он просто наблюдает предметы и явления внешнего мира, сочетает их в голове; сопоставив несколько наблюдений, он делает вывод. Его ум — машина, притом автоматическая, человек ее не контролирует; ваш ум не может постичь ничего нового, оригинального, ему под силу лишь, собрав материал извне, придать ему новые формы. Но он вынужден брать материал извне, а создать его он не в состоянии. В общем, человеческий ум не может творить, а бог может, мне подобные могут. Вот в чем различие. Нам не нужны готовые материалы, мы создаем их — из мысли. Все сущее было создано из мысли, только из мысли.

Я решил, что должен проявить великодушие и вежливость — поверить ему на слово, не требуя доказательств, — так я ему и сказал. Сорок четвертый не обиделся.

— Твой автоматический ум выполнил свою функцию, — заметил он, — свою единственную функцию, и без всякой помощи с твоей стороны. То есть он слушал, он наблюдал, собрал разные вещи воедино и сделал вывод — вывод, что мое утверждение сомнительно. Теперь он втайне хочет проверить, так ли это. Верно?

— Пожалуй, — признался я, — хотя, будь на то моя воля, я бы скрыл свое желание из деликатности.

— Твой ум автоматически предлагает, чтоб я представил особое доказательство, чтоб я создал пригоршню золотых монет из ничего, то есть из мысли. Открой ладонь, они там.

И монеты там были! Я удивился, но не сильно, потому что в глубине души верил — и не раз в этом убеждался, — что Сорок четвертый пользуется колдовскими заклятиями, которым научился у мага, а сам без него ничего сделать не может. А вдруг я не прав? Меня так и подмывало спросить об этом Сорок четвертого, я уж открыл было рот, но язык не повернулся, и я догадался, что он наложил на меня таинственный запрет, который так часто мешал мне задать ему желаемый вопрос Сорок четвертый снова погрузился в размышления

— Бедная старуха! — вдруг воскликнул он.

У меня защемило сердце; я будто наяву увидел столб, костер, услышал предсмертный вопль старухи

— Какой стыд, что мы ее не спасли, какая жалость!

— Почему жалость?

— Почему? Ты еще спрашиваешь, Сорок четвертый?

— Какая ей от этого корысть?

— Продление жизни, к примеру. Разве это ничего не значит?

— Узнаю человека! Он всегда притворяется, что вечное блаженство в царствии небесном — бесценная награда! А сам стремится как можно дольше не попасть на небо. Понимаешь, в глубине души он отнюдь не убежден в существовании царствия небесного.

Меня зло взяло, что я по неосторожности дал ему такой козырь. Но спорить не стал: сказанного не воротишь, к тому же, спорь не спорь, Сорок четвертого не убедишь. Желая перевести разговор на другую тему, я заметил, что уж в одном-то старуха выиграла бы, если б ее спасли от костра, — не мучилась бы так перед смертью, прежде чем попасть в рай.

— Она не попадет в рай, — невозмутимо сказал Сорок четвертый.

Я был потрясен и еще больше — возмущен.

— Ты, вероятно, много знаешь о рае, — сказал я с некоторой горячностью, — откуда тебе все известно?

Ему не передалось мое волнение, он даже не потрудился ответить на вопрос, а продолжал:

— Выигрыш этой женщины был бы ничтожен, даже по вашим удивительным меркам. Что

такое десять лет по сравнению с десятью миллиардами? Одна десятитысячная доля секунды, иначе говоря — ничто. Так вот, теперь она в аду и пребудет там вечно. Вычти из вечности десять лет, что ты получишь? Нуль. Ее смертная мука на костре длилась шесть минут, спасти ее от такой муки не стоило труда. Бедняжка теперь в аду, посмотри сам.

И не успел я попросить пощады, как моему взору открылось море огня, и в нем она, среди других грешников. Уже в следующий миг адское пламя исчезло, исчез и тот, кто вызвал это видение. Я остался в одиночестве.

Хотя я был молод — мне едва минуло семнадцать, — овладевшая мной тоска была почти беспросветна. Интерес к событиям в замке и его обитателям угас; я замкнулся в себе и не обращал внимания на то, что происходит вокруг; двойник выполнял все мои обязанности, делать мне было нечего, и я, невидимый, бесцельно слонялся по замку, чувствуя себя глубоко несчастным.

Дни тянулись мрачной чередой, я томился, чего-то в моей жизни недоставало, я сознавал это все отчетливей. Я и самому себе не решался признаться, отчего томлюсь. А причиной была племянница мастера Маргет. Я был тайно влюблен в нее, влюблен давным-давно. Я с обожанием смотрел на ее лицо, прелестную фигурку, но дальше этого немого обожания дело не шло: не хватало смелости. Да и как мог я, застенчивый неоперившийся юнец, воспарить так высоко? Стоило ей мимоходом одарить меня приветливым словом, меня бросало в дрожь, безграничное счастье наполняло мое существо, всеми фибрами души я ощущал неземное блаженство и ночью не смыкал глаз, но такая явь была лучше сна. Эти случайные, ничего не значащие фразы, которые Маргет бросала невзначай, были для меня подлинными сокровищами, я бережно хранил их в своей памяти и точно помнил, когда она произнесла каждую из них, по какому случаю; помнил ее голос, выражение лица, свет глаз; что ни ночь, я любовно перебирал их в памяти одну за другой, умилялся, играл с ними, как бедная девчонка с горсткой дешевых бусинок. Но о том, чтобы Маргет всерьез подумала обо мне, глянула, молвила слово — ласково, не так, как походя бросают кошке, — я и мечтать не смел! Обычно Маргет меня не замечала и, проходя мимо по коридору или гостиной, ограничивалась приветливым взглядом.

Как я уже сказал, я давно тосковал по ней. Здоровье ее матери немного ухудшилось, и Маргет не отлучалась из комнаты больной. Теперь я понял, как жажду лицезреть своего ангела, быть с ней рядом. И вдруг я увидел ее шагах в двадцати от себя — о, чудное виденье! Нежное юное лицо, легкая фигурка и та особая хрупкость и грация, что присуща лишь семнадцатилетней; это лучшая пора в жизни девушки, пора ее расцвета. Вот он, мой идеал! Я замер на месте, зачарованный. Она медленно шла в мою сторону, задумчивая, мечтательная и настолько погруженная в свои мысли, что не замечала ничего вокруг. Маргет приблизилась, и я, невидимый, стал на ее пути; она прошла сквозь меня, и кровь моя вспыхнула. Маргет остановилась, удивленная, щеки ее окрасились ярким румянцем, рот полуоткрылся, дыхание стало прерывистым и учащенным; она недоуменно огляделась и произнесла едва слышно раз, потом еще:

— Что бы это могло быть?

Я пожирал ее глазами; Маргет не двигалась с места минуту, а может быть, и больше, потом так же тихо, будто говорила сама с собой, посетовала:

— Похоже, я грежу наяву, ведь это был сон, но зачем я проснулась? — С этими словами она медленно пошла по коридору.

Радость моя была неопишуемой. Я подумал, что Маргет любит меня, но хранит свою любовь в тайне, как все девушки, но теперь я добыю от нее признания, я буду смел, решителен, я откроюсь ей! Став видимым, я мгновенно догнал Маргет. И вот я с ней рядом; возбужденный, счастливый, уверенный в успехе, я взял ее за руку и неожиданно для себя выпалил:

— Дорогая Маргет, моя Маргет, люби...

Она устремила на меня укоризненный взгляд, сдержанный, но очень холодный, выждала, чтоб он заледенил мне душу, и ушла, не сказав ни слова. У меня не хватило смелости

последовать за ней. Да я и не мог последовать за ней: я остолбенел от удивления. Почему она так обошлась со мной? Почему грезит обо мне и не рада видеть наяву? Это была тайна, но какая-то необычная, непонятная мне тайна. Я ломал голову, тщетно пытаюсь разрешить загадку, и все еще глядел вслед Маргет; мне хотелось плакать от стыда: как я был самонадеян и как жестоко поплатился за это! Вдруг Маргет остановилась Боже, да ведь она может вернуться! В мгновение ока я стал невидимкой — за полцарства я не хотел бы предстать перед ней снова.

Маргет действительно повернула обратно. Я отступил к стене, дал ей дорогу. Мне хотелось взлететь, но я не мог оторваться от земли; слишком сильно было очарование Маргет, я стоял, вопреки своему желанию, и с обожанием смотрел на нее. Маргет ступала как во сне, с тем же задумчивым и отрешенным видом; проходя мимо меня, она остановилась, замерла на мгновение-другое, потом продолжила свой путь и со вздохом сказала:

— Я ошиблась, но мне показалось, что я снова испытала нечто похожее

Сожалела ли она о своей ошибке? Вероятно, сожалела. Маргет снова возродила во мне страстную надежду, наполнила горячим желанием убедиться, оправданна ли она; я едва удержался от соблазна шагнуть вперед, снова преградить ей путь и проверить, так ли это, но слишком свежа была боль после недавнего отпора, и я не отважился. Зато я спокойно любовался красотой Маргет и ни за что на свете не отказался бы от такого счастья. Я крался за ней на некотором расстоянии, куда бы она ни свернула, и лишь когда Маргет вошла в свою комнату и закрыла дверь, я, огорченный, вернулся к себе, к своему одиночеству. Но при одном воспоминании о первом чудесном прикосновении кровь моя снова воспламенилась, и я утратил покой. Час за часом я боролся с собой, но любовная горячка не проходила. Наступила ночь, она тянулась долго-долго, но облегчения не принесла. В десять обитатели замка уже спали — все, кроме меня. Я вышел из комнаты, побродил по замку, а потом, невидимый, полетел по большому коридору. В тусклом свете я различил на памятном месте неподвижную фигуру. Это была Маргет, я узнал бы ее и в полумраке. Я не сдержался и устремился к ней: Маргет притягивала меня, как магнит. Она была совсем близко, но в двух-трех шагах от любимой я вдруг вспомнил, кто я, и почувствовал, как холодок пробежал у меня по спине. Ну и пусть, подумал я, побыть рядом с ней уже счастье! Маргет вскинула голову и замерла в позе напряженного и грустного ожидания, будто прислушивалась к чему-то, затаив дыхание; в неясном свете мне открылось ее счастливое, томное лицо и — как сквозь вуаль, — влажно блестящие, такие любимые глаза.

— Тишина, ни звука, — прошептала Маргет, — но она где-то здесь, я знаю, что она уже близко, моя греза.

Любовь вскружила мне голову, я полетел к Маргет, легкий, как дыхание, обнял ее, крепко прижал к груди — она не оттолкнула меня! — и поцеловал, пьянея от счастья. Маргет вздохнула, закрыв глаза, и молвила с выражением безграничного блаженства:

— Я так люблю тебя, я истомилась, ожидая тебя.

Она трепетала от каждого поцелуя, во мне же разыгралась такая буря чувств, что все прежние человеческие переживания показались мне холодными и слабыми по сравнению с тем, что доступно духу.

Невидимый, неосязаемый, освобожденный от плоти, прозрачный, как воздух, я тем не менее удерживал Маргет в объятиях и, казалось, мог подняться с ней в воздух. И это была не иллюзия, а реальность. Ощущение изумило своей новизной, я и не подозревал, что дух мой так силен. Я еще освою этот ценный дар, воспользуюсь им, проверю, на что способен.

— Чувствуешь ли ты, как я сжимаю твою руку, дорогая? — спросил я Маргет.

— Конечно, чувствую.

— А мой поцелуй?

— Что за вопрос! — засмеялась Маргет.

— А мои руки, когда я сжимаю тебя в объятиях?

— Ну, разумеется. Какие странные слова!

— Мне хотелось вызвать тебя на разговор, чтоб услышать твой голос; он для меня словно музыка, Маргет, и я...

— Маргет? Маргет? Почему ты называешь меня так?

— Ах ты маленький страж приличий, ревнительница собственности. Требуешь, чтоб я звал тебя госпожа Реген? Боже мой, я полагал, что мы покончили с условностями.

— . Но почему ты должен так меня величать? -недоумевала Маргет.

Пришел мой черед удивляться.

— Почему? Пожалуй, нет других причин, кроме той, что это твое имя, дорогая.

— Мое имя? Ну и ну! — Маргет капризно вскинула прелестную головку. — В первый раз его слышу!

Я обхватил ладонями ее лицо и заглянул ей в глаза — не шутит ли? — но они были сама искренность и простодушие. Не зная, что сказать, я брякнул наугад:

— Любое имя, что тебе по нраву, будет мило для меня, невообразимо прекрасная, обожаемая! Каким именем мне звать тебя? Прикажи!

— Ну и повеселился же ты, вызвав меня на разговор, как ты выразился. Как меня называть? Да моим собственным именем, и не величай меня госпожой.

Я все еще терялся в догадках, но это меня не тяготило: чем дольше игра, тем лучше, тем приятнее.

— Тебя зовут, — начал я, — тебя зовут... Забыл, вот досада! Ну, скажи сама, дорогая.

Она залилась звонким, переливчатым, как птичья трель, смехом и легонько стукнула меня по уху.

— Забыл? Так не пойдет! Ты, видно, затеял какую-то игру, еще не знаю — какую, но меня не проведешь. Хочешь, чтоб я сама сказала свое имя, а ты... ты подстроишь ловушку или сыграешь со мной шутку, в общем, представишь меня в глупом виде. Признавайся, что ты задумал, милый?

— Признаюсь, — ответил я сурово. — Вот обхватываю твою шейку левой рукой — вот так, потом запрокину тебе голову — вот так, прижму поплотней — вот так и, как только ты назовешь свое имя, поцелую тебя в губки

Она глянула на меня снизу вверх — ее голова покоилась на моей согнутой руке, как в люльке, — прошептала, разыгрывая смирение и покорность: «Лисбет», и приняла кару без сопротивления.

— Ты славная девочка, — сказал я, одобрительно потрепав ее по щеке. — Никакой ловушки не было, Лисбет, если не считать ловушкой то, что я прикинулся забывчивым; но когда сладчайшее из всех имен произносят сладчайшие уста, оно становится слаще меда, вот я и хотел услышать его от тебя.

— О, дорогой мой, за ту же цену я открою его полностью.

— Идет!

— Элизабет фон Арним [юный друг Гёте После смерти Гёте опубликовала воспоминания о встречах с великим немецким поэтом и его письма к ней.]

— Раз, два, три. Поцелуй за каждую часть.

Теперь уже я не терялся в догадках, я знал ее имя. Это был триумф дипломатии, и я им очень гордился. Я повторял и повторял ее имя — отчасти потому, что мне нравилось его звучание, отчасти для того, чтобы закрепить его в памяти; потом я выразил желание купить еще что-нибудь за ту же восхитительную цену. Она подхватила шутку:

— Мы можем заняться твоим именем, Мартин.

Мартин! Я подскочил на месте. И где это она набрала столько доселе неслыханных имен! В чем разгадка этой таинственной истории, почему все это происходит и как? Где объяснение? Трудная загадка, настоящая головоломка! Однако сейчас не время заниматься ею, надо продолжить торговлю и выяснить мое собственное имя полностью.

— Мартин — некрасивое имя, но в твоих устах оно звучит иначе. Повтори его, любимая.

— Мартин. Расплачивайся!

Я исполнил ее волю.

— Продолжай, Бетти, дорогая, твой голос — музыка. Прознеси его полностью.

— Мартин фон Гисбах. Жаль, что оно такое короткое. Плати!

Я вернул и долг, и проценты.

Бо— оо-ом! -ударил колокол в главной башне.

— Половина двенадцатого! Что скажет матушка! Я и не думала, что уже так поздно, а ты, Мартин?

— Мне показалось, что прошло всего пятнадцать минут.

— Пошли, надо торопиться, — промолвила она, и мы заторопились, насколько это было возможно; я обнял ее левой рукой за талию, она положила мне руку на плечо, будто ища поддержки. Мечтательно прошептала несколько раз:

— О, как я счастлива, как счастлива, счастлива, счастлива.

Казалось, ее всецело занимает эта мысль, и она ничего вокруг себя не замечает. Вдруг навстречу нам из темноты шагнул мой двойник, и я отшатнулся в безотчетном страхе.

— Ах, Маргет, — протянул он укоризненно, — я так долго ждал тебя у двери, а ты нарушила обещание. Ты не жалеешь меня, ты меня не любишь!

О, ревность! Я впервые в жизни почувствовал ее укол.

К моему удивлению и радости, девушка не обратила на двойника никакого внимания, будто его и не было. Она продолжала свой путь и, судя по всему, не видела его и не слышала. Двойник остановился, пораженный, и, повернув голову, глядел ей вслед. Он что-то пробормотал себе под нос, потом сказал громче:

— Какая странная поза, и руку подняла как-то нелепо... Боже мой, да она лунатик!

Он последовал за нами на некотором расстоянии. Подойдя к ее двери, я обхватил ладонями нежное личико Маргет — нет, Лисбет! — и поцеловал ее в глаза и губы; ее маленькие ручки доверчиво лежали у меня на плечах.

— Доброй ночи, доброй ночи и приятных снов, — прошептала она и скрылась за дверью.

Я обернулся к двойнику. Он стоял неподалеку и глазел в пустоту, где только что была девушка. Какое-то время он молчал. Потом разразился радостной тирадой:

— Ах я ревнивый дурак! Ведь она послала поцелуй — мне, кому же еще! Она мечтала обо мне. Теперь я все понимаю. И это ласковое «спокойной ночи» тоже предназначалось мне! Тогда совсем другое дело! — и он, подойдя к двери, поцеловал пол в том месте, где только что стояла девушка.

Это было невыносимо. Подскочив к двойнику, я двинул его в челюсть, вложив в удар всю обретенную силу, и он покатился по каменному полу, пока не уперся в стену. Сначала Шварц не мог опомниться от удивления. Поднялся, потирая ушибы, минуты две высматривал обидчика, потом ушел, прихрамывая, бросив на ходу: v — Черт подери, хотел бы я знать, что это было!

Я проплыл в недвижимом воздухе к себе в комнату, разжег огонь в камине и уселся неподалеку — насладиться своим счастьем и подумать над загадкой имен. Покопавшись в памяти, я нашел обрывки сведений, полученных от Сорок четвертого, распутал, наконец, клубок и нашел всему такое объяснение. Я — человек из плоти и крови совсем не интересен Маргет Реген, я же в виде духа действую на нее гипнотически, как выразился бы Сорок четвертый, и погружаю ее в сомнамбулический сон. Он выключает сознание Маргет, лишает власти ее Будничную Суть и передает власть на время Сути Грез. Суть Грез Маргет — совершенно независимая личность, избравшая, по ей одной известной причине, имя Элизабет фон Арним. Лисбет совершенно не знакома с Маргет, даже не подозревает о ее существовании, делах, чувствах, мнениях, о том, какую религию Маргет исповедует, какую прожила жизнь, и всем прочем, что связано с Маргет. С другой стороны, и Маргет понятия не имеет о Лисбет, не догадывается о ее существовании и всем том, что ее касается, включая имя.

Для Маргет я — Август Фельднер, для ее Сути Грез — Мартин фон Гисбах. Почему — тайна за семью печатями. Наяву Маргет меня не замечает, в гипнотическом сне считает избранником своего сердца

Со слов Сорок четвертого я знал, что каждый человек — не двуединство, а триединство независимых существ — Будничной Сути, Сути Грез и духа. Последний бессмертен, две другие Сути управляются мозгом и нервами, материальны и смертны; они не действуют также, когда мозг и нервы парализованы каким-нибудь потрясением или одурманены наркотиками; когда человек умирает, умирают и они, ибо их жизнь, энергия, само существование целиком зависят от физической поддержки, которую не дают мертвый мозг и мертвые нервы. Когда я становился невидимкой, моя плоть исчезала, не оставалось ничего связанного с ней. Оставался лишь дух, мой бессмертный дух. Освобожденный от бремени плоти, наделенный недюжинной силой, физической и духовной, он был очень яркой личностью.

Я заключил, что разобрался в этом деле и разрешил загадку. Позднее подтвердилось, что я был прав.

Потом в голову мне пришла грустная мысль: три мои Сути влюблены в одну и ту же девушку, как же мы все можем быть счастливы? Эта мысль очень огорчила меня; ситуация была трудная, с неизбежными сердечными ранами и взаимными обидами.

Раньше я относился к своему двойнику с полным безразличием. Он был мне чужд — не больше и не меньше; я ему был чужой, за всю жизнь мы ни разу не встретились, пока Сорок четвертый не облек его в плоть; мы и не могли встретиться, даже если бы захотели; когда один из нас бодрствовал и распоряжался нашим общим мозгом и нервами, другой бессознательно расслаблялся и впадал в сон. Вся жизнь мы были тем, что Сорок четвертый называл «Бокс и Кокс из одной кельи» [*персонажи фарса Д Мортонна «Бокс и Кокс» (1847 г.)*]; мы знали о существовании друг друга, но ни один из нас не интересовался делами другого; мы встречались на пороге сна, в тумане забытья, на долю мгновения: один входил, другой выходил из кельи, но ни тот, ни другой никогда не задерживался на пороге, чтоб поклониться или сказать приветливое слово.

Впервые мы встретились и поговорили, когда Сорок четвертый облек двойника в плоть. Встреча наша не была сердечной и дружеской, мы познакомились, да так и остались друг для друга просто знакомыми. Хоть мы родились вместе, в одно и то же мгновение, из одного чрева, нас не объединяло духовное родство; духовно мы оставались независимыми личностями, не связанными узами родства, с одинаковым правом на общую телесную собственность; мы

думали друг о друге не больше, чем о прочих, чужих нам людях. Мой двойник даже не носил мое имя, а назывался Эмилем Шварцем.

Я всегда был вежлив с Эмилем, но избегал его. И это было естественно: он во всем превосходил меня. Мое воображение по сравнению с его богатейшей фантазией было словно светлячок рядом с молнией; в печатном деле двойник за пять минут успевал сделать больше, чем я за целый день; он выполнял всю мою работу в типографии и при этом полагал ее сущим пустяком; в искусстве развлекать и завлекать я был нищий, а он — Крез; в страсти пылкой, других чувствах и переживаниях, будь то радость или горе, я был сухой фосфор, а он — пламень. Короче говоря, он был наделен такими способностями, какие могут привидеться лишь в мучительном или радостном сне.

Вот кто решил стать возлюбленным Маргет! Оставался ли хоть один шанс мне, в моем грубоватом и скучном человеческом обличье? Ни единого! Я понимал это и терзался невыразимой сердечной мукой.

Но кто был двойник по сравнению с моим духом, освобожденным от низменной плоти? Ничто или менее того! Здесь все было наоборот — и в страсти пылкой, и в радости, и в горе, и в искусстве развлекать и завлекать. Лис-бет принадлежала мне, никто в целом мире не мог ее отнять у меня, — именно Лисбет, когда властвовала ее Суть Грез; но когда власть переходила к Будничной Сути, Маргет становилась рабыней этого змея, Эмиля Шварца. Изменить что-либо было невозможно, я не видел выхода из дьявольски трудного положения. Любимая девушка принадлежала мне лишь наполовину, ее вторым «я», столь же страстно любимым, владел другой. Она была моей возлюбленной и она же была возлюбленной двойника — словом, какая-то карусель!

Мрачные мысли преследовали меня, приводили в отчаяние, угнетали своей неотвязностью; душа не ведала ни мира, ни покоя, ничто не сулило исцеления от нестерпимой боли. Я почти позабыл про любовь Лисбет, неоценимое сокровище, потому что одновременно не мог добиться взаимности Маргет. То был верный признак человеческой природы: человеку подай луну с неба, и он не успокоится, пока не получит ее в свое владение. Так уж мы устроены — самый смиренный из нас ненасытен, как император.

Наутро, во время ранней мессы, я вновь почувствовал себя счастливым: в храм пришла Маргет, и печаль моя улетучилась при одном взгляде на нее. Но лишь на время! Она меня не заметила, а я и не надеялся на такое счастье и потому не опечалился; я был доволен уже тем, что гляжу на нее, дышу одним с ней воздухом, восхищаюсь всем, что она делает, всем, чего не делает, и радуюсь своей привилегии; потом я заметил, что она то и дело оборачивается, словно ненароком, и смотрит через левое плечо; тогда и я обернулся — что там такого интересного? И, конечно, обнаружил, что ее привлекало, — Эмиль Шварц. Я и раньше испытывал к нему неприязнь, но теперь ощутил лютую ненависть и до конца службы смотрел то на него, то на Маргет.

Когда служба закончилась, я, выйдя из храма, стал невидимкой, намереваясь последовать за Маргет и возобновить ухаживания. Но она не появлялась. Вышли все, кроме этой парочки. Через некоторое время Маргет выглянула наружу, посмотрела по сторонам — все ли разошлись, обернувшись, кивнула головой и поспешно покинула церковь. Я огорчился: это означало, что ухаживания возобновит мой двойник. Потом появился Шварц, и я последовал за ним — все вверх и вверх по узкой, тускло освещенной лестнице, которой пользовались крайне редко; она вела в роскошные апартаменты покойного мага в южной башне замка. Шварц вошел и тотчас прикрыл за собой дверь, но я, не дожидаясь приглашения, проник в комнату сквозь тяжелые деревянные створки двери и замер, выжидая. В другом конце комнаты пылал огромный камин, и возле него сидела Маргет. Она поспешила навстречу гнусной нежити, кинулась в его объятия и

поцеловала его, а он — ее; потом снова — она, снова он и так далее и так далее, и мне стало тошно от этого зрелища. Но я терпел, я решил узнать все до мельчайших подробностей, выпить горькую чашу до дна. Тем временем они — рука об руку — подошли к кушетке, уселись, тесно прижавшись друг к другу, и все началось сначала — они поцеловались — раз, другой, третий — ничего отвратительнее я в своей жизни не наблюдал. А Шварц своими нечестивыми пальцами приподнял ее прелестное личико за подбородок — я бы никогда не отважился осквернить свою святыню, — заглянул в лучистые глаза Маргет, мои по праву, и лукаво сказал:

— Ах ты, маленькая предательница.

— Предательница? Я? Почему, Эмиль?

— Ты не сдержала свое слово вчера вечером.

— Ошибаешься, Эмиль, сдержала.

— Кто угодно, но не ты! Ну, скажи, что мы делали? Куда ходили? И за дукат не вспомнишь!

Лицо Маргет выразило удивление, потом замешательство, потом — испуг.

— Странно, — молвила она, — очень странно... необъяснимо. Мне кажется, я позабыла все на свете. Но помню наверняка — я вышла из комнаты и бродила где-то почти до полуночи; я знаю это, потому что мать корила меня и дознавалась, почему меня так долго не было. Мать очень тревожилась, а я ужасно трусила, как бы она не догадалась. А что было до этого — совершенно вылетело из головы. Ну не странно ли?

Тут дьявол Шварц весело рассмеялся и пообещал разгадать загадку за один поцелуй. И он рассказал Маргет, как встретил ее; она брела, будто во сне, и мечтала о нем; как он обрадовался, увидев, что она целует воздух, воображая, что целует его. Оба посмеялись над этим забавным случаем, выбросили его из головы и снова принялись осыпать друг друга ласками, нежными словечками и вовсе позабыли о происшествии.

Они разглагольствовали о «счастливом дне» — слова эти жгли меня, как раскаленные уголья! Осталось лишь уговорить мать и дядю, они, конечно, согласятся. И парочка размечталась о будущем — влюбленные строили его из солнечного света, радуг и веселья; они так упивались своими золотыми мечтами, что вовсе захмелели от счастья: слова уже не могли выразить предвкушение блаженства и замирали на губах, уступая место истинно богатому языку любви, молчаливому общению душ — вздымающаяся грудь, глубокий вздох, долгое объятие, голова на плече у возлюбленного, затуманенные негой глаза, нескончаемый поцелуй...

И тогда я утратил всякое самообладание! Проплыв по воздуху, я окутал их, будто невидимое облако! В мгновение ока Маргет превратилась в Лисбет: она вскочила, воспаленная божественной страстью ко мне; я отступал все дальше и дальше, и она послушно следовала за мной; но вот я остановился, и она, задыхаясь, упала ко мне в объятия, прошептав:

— О, мой единственный, кумир мой, как тягостно тянулось время ожидания, умоляю, не оставляй меня одну!

Двойник поднялся очень удивленный, вытаращился на Маргет с дурацким видом, задвигал беззвучно губами, тщетно пытаясь что-то сказать. Вдруг его осенило, и он направился к девушке со словами:

— Опять сонохождение — однако как это быстро на нее находит!... И как она удерживается в такой наклонной позе и не падает?

Двойник подошел к нам, продел сквозь меня руки и обнял Маргет.

— Проснись, дорогая, — заклинал он ее с нежностью, — стряхни с себя сон, невыносимо видеть тебя такой.

Лисбет высвободилась из его рук и бросила на него взгляд, полный удивления и

оскорбленного достоинства, сопроводив его возмущенным:

— Вы забываетесь, господин Шварц!

С минуту змей не верил своим ушам, потом опомнился и сказал:

— О, приди в себя, дорогая, мне мучительно видеть тебя в таком состоянии. А не можешь проснуться, поди приляг на диван, усни настоящим сном; а я буду твоим любящим стражем, моя дорогая, и уберегу тебя от чужих глаз. Пойдем, Маргет, прошу тебя!

— Маргет? — глаза Лисбет вспыхнули от гнева. — Какая Маргет, скажите на милость? За кого вы меня принимаете? И почему позволяете себе такую фамильярность? — Лисбет немного смягчилась, заметив его жалкую растерянность и горестное недоумение, и добавила: — Я всегда проявляла к вам учтивость, господин Шварц, и это очень недобро с вашей стороны — оскорблять меня столь бессмысленным образом.

Несчастный, страшно сконфузившись, не знал, что ответить, и выпалил:

— О, мое бедное дитя, стряхни сон, приди в себя, моя милая, давай снова погрузимся всей душой в мечты о счастливом дне нашей свадьбы...

Это было уже слишком. Она возмущенно прервала его фразу, даже не выслушав, что он хотел сказать.

— Убирайтесь прочь! — приказала Лисбет. — У вас помутился разум, вы пьяны. Убирайтесь немедленно! Вы мне отвратительны!

Двойник со смиренным видом направился к двери и, вытирая глаза платком, пробормотал:

— Несчастное дитя! У меня сердце разрывается, как погляжу на нее.

Милая Лисбет, она была еще девчонкой — то солнце, то дождь, то решительность и отвага, то слезы. Вот и сейчас она прижалась к моей груди и, всхлипывая, умоляла:

— Люби меня, мой дорогой, дай мир моей душе, залечи мои раны, помоги забыть, как оскорбил меня этот странный человек!

И в последующие полчаса мы досконально, во всех подробностях воспроизвели ту же сцену на кушетке — поцелуи, мечты о будущем, — и я не мог выразить свое счастье в словах. Но была в этих сценах и существенная разница — Маргет думала о том, как успокоить и уговорить мать; для Элизабет фон Арним не существовало никаких препон: если у нее и были родственники в этом мире, она о них не знала; Лисбет была свободна и могла выйти замуж по своему разумению, когда пожелает. Со свойственной ей восхитительной наивностью Лисбет рассудила, что это событие может свершиться сегодня и даже сейчас. Не будь я духом, у меня бы перехватило дыхание от неожиданности. Ее слова, точно нежный ветерок, привели в трепет все мое существо. Я на мгновение смешался. Разве это честно, благородно, разве это не предательство с моей стороны — позволить юной доверчивой девушке выйти замуж за призрак, невидимый элемент атмосферы? Я горел желанием жениться на Лисбет, но честно ли оно? Пожалуй, расскажу ей свою историю, пусть решает сама. Ах... а вдруг она примет неправильное решение?

Нет, я не отважусь, я не рискну. Я должен думать, думать, думать. Я должен найти законную справедливую причину жениться на Лисбет, не открывая ей своей тайны. Все мы так устроены — когда нам чего-нибудь хочется, мы ищем законные и справедливые причины, чтоб осуществить свой замысел, мы называем их так красиво, чтоб успокоить свою совесть, а в душе прекрасно сознаем, что ищем лишь благовидный предлог.

Я нашел то, что искал, и упорно притворялся перед собой, что это единственно возможное решение проблемы. Сорок четвертый — мой друг, если я его попрошу, он конечно же вернет двойника в мое существо и заключит его там навеки. Таким образом, Шварц не будет мне мешать, и Будничная Суть моей жены утратит к нему всякий интерес, а потом и разлюбит. Все это вполне вероятно. А потом я, Август Фельднер, стану почаще попадаться на глаза Маргет,

проявляя должный такт и искусство оболыщения, и кто знает, может быть со временем... да это яснее ясного! В самом недалеком будущем настанет час — я и не мыслю себе иначе, — когда мой дух больше не покинет тело; тогда они обе — Лисбет и Маргет — овдовеют и в поисках утешения и нежной дружбы уступят мольбам бедного, ничем не примечательного Августа Фельднера и выйдут за него замуж. Идея — безошибочная, верная, идеальная. Она привела меня в неопиcуемый восторг. Лисбет прочла его на моем лице и воскликнула:

— Я поняла, чему ты радуешься! Мы поженимся сейчас!

Я принялся поспешно, как дрова в печку, забрасывать ей в голову разные «внушения»; Сорок четвертый рассказывал мне, что «внушением» ты заставляешь человека в состоянии гипноза видеть, слышать и чувствовать все, что захочешь, — видеть людей и вещи, которых на самом деле нет, слышать слова, которые никто не говорил, принимать соль за сахар, уксус за вино, аромат розы за смрад, выполнять все приказы, забывая, пробуждаясь, что с тобой происходило, и вспоминать абсолютно все, вновь погружаясь в гипнотический сон.

По моему внушению Лисбет надела свадебный наряд, почтительно склонилась перед воображаемым священником у воображаемого алтаря, улыбнулась воображаемым свадебным гостям, дала торжественную клятву супружеской верности, обменялась со мной кольцами, склонила милую головку, получая благословение, подставила жениху губки для поцелуя и покраснела, как и подобает новобрачной на людях.

Тем же внушением я удалил и алтарь, и священника, и всех гостей; мы остались наедине, исполненные безграничного счастья, самая счастливая пара во всей Австрии!

И вдруг шаги! Я тотчас отбежал на середину комнаты, чтоб освободить Лисбет от гипнотического сна, а Маргет — от последующего конфуза; она должна быть готова ко всяким неожиданностям. Маргет озиралась по сторонам, удивленная и, как мне показалось, немного испуганная.

— Что за диво? Где Эмиль? — недоумевала она. — Как странно, я не видела, когда он ушел. Как же он мог уйти незаметно для меня?... Эмиль! Не отвечает. Это логовище мага, конечно, заколдовано. Но ведь мы же приходили сюда много раз и ничего плохого не случилось.

В этот миг в комнату проскользнул Эмиль и сказал извиняющимся тоном, всем своим видом выказывая глубочайшее почтение:

— Извините, госпожа Реген, но я опасался за вас и все время стоял на страже; ваша честь пострадает, если вас обнаружат в таком месте, да еще спящей. Матушка тревожится, что вы пропали, ее сиделка ищет вас повсюду, я ее направил по ложному следу... Извините, что с вами?

Маргет глядела на него в странном оцепенении, и слезы катились по ее щекам. Потом она закрыла лицо руками и зарыдала.

— Это было жестоко с твоей стороны — оставить меня здесь, спящую. О, Эмиль, как ты мог бросить меня одну в такое время, если ты меня действительно любишь?

В то же мгновение одуревший от счастья олух схватил Маргет в объятия и осыпал поцелуями, а она, едва получив очередной поцелуй, спешила подарить ему ответный — она, чьи уста только что произносили клятву супружеской верности! И вот теперь мужчина — да еще эта нежить! — обнимает мою жену прямо у меня на глазах, а она, ненасытная, получает от его ласк огромное удовольствие. Не в силах вынести этого постыдного зрелища, я полетел к двери, намереваясь попутно выбить Эмилю парочку зубов, но Маргет закрыла ему рот поцелуем, и я не смог до него добраться.

В тот вечер со мной приключилась ужасная беда. Вот как это произошло. Я был невыразимо счастлив и в то же время несказанно несчастлив; жизнь стала для меня упоительным волшебством и в то же время тяжким бременем. Я не знал, что делать, и решил напиться. В первый раз в жизни. По совету Навсенаплюя. Он не понимал, что со мной творится, я ему не открылся, но видел — что-то стряслось, что-то надо исправить; в таком случае, по его разумению, следовало выпить: может, вино пойдет на пользу, во всяком случае, вреда от него не будет. Навсенаплюй оказал бы мне любую услугу: ведь я был другом Сорок четвертого, а он любил поговорить о Сорок четвертом, погоревать вместе о его страшной кончине. Я не мог сообщить Навсенаплюю радостное известие, что Сорок четвертый ожил: таинственный запрет лишал меня дара речи каждый раз, когда я пытался передать ему эту новость. Так вот, мы пили и горевали, но я, видно, хватил лишку и утратил благоразумие. Нет, я не напился до положения риз, но, когда мы расстались, уже достиг той стадии, когда все нипочем, и забыл обернуться невидимкой. И в таком виде, исполненный нетерпения и отваги, я вошел в будуар своей невесты; конечно, я ждал радостного приема и дождался бы, явись я Мартином фон Гисбахом, которого она любила, а не Августом Фельднером, который был ей совершенно безразличен. В будуаре было темно, но через открытую дверь спальни мне открылась чарующая картина, и я замер на месте, любуясь ею. Маргет сидела перед зеркалом в простенке, левым боком ко мне, белоснежная в своей изящнейшей ночной рубашке; ее тонкий профиль и сверкающий водопад темно-каштановых волос, струившихся до самого пола, были ярко освещены. Горничная деловито расчесывала их гребнем, приглаживала щеткой и о чем-то сплетничала; Маргет время от времени поднимала головку, улыбаясь ей, и та улыбалась в ответ; я тоже улыбался им из темноты, мне было хорошо, душа моя пела. И все же картину надо было чуть-чуть изменить, ей недоставало совершенства: прелестные голубые глаза ни разу не подарили меня взглядом. Я подумал — надо подойти поближе и исправить этот изъян. Полагая себя невидимкой, я безмятежно шагнул в глубь спальни и остановился; в тот же миг из дальней двери вышла мать Маргет, и все три женщины, заметив постороннего, подняли страшный крик!

Я сломя голову помчался прочь. Прибежал в свою комнату и плюхнулся на стул, томимый предчувствием беды. И она не заставила себя ждать. Я знал, что мастер зайдет ко мне, и не ошибся. Явился он, естественно, разгневанный, но, к моему великому облегчению и удивлению, обвинял не меня! Я сразу воспрял духом! Мастер во всем винил моего двойника, от меня же требовалось лишь заверение, что я не осквернил своим вторжением спальню его племянницы. Когда он произнес эти слова... радость моя почти улетучилась. Если б он замолчал и потребовал от меня клятвенного заверения в невинности, я бы... но он ничего не потребовал. Мастер вспоминал все новые и новые подробности возмутительного поступка, даже не подозревая, что это не новость для меня, ругал Шварца, считая само собой разумеющимся, что он — преступник, а моя добропорядочность ставит меня выше подозрений. Его слова ласкали мой слух, я радовался, что речь его не кончается, и, чем больше обвинений сыпалось на голову двойника, тем мне было приятнее; я мысленно благодарил мастера за то, что он не потребовал от меня клятвы. Мастер же распалился еще больше; я понял, что он намерен сурово покарать Шварца, и возликовал душой. Больше того — у меня появилось злобное желание подлить масла в огонь, я только ждал случая.

Оказывается, и мать, и горничная ничуть не сомневались, что оскорбитель — двойник. Мастер целиком полагался на их показания и ни разу не сослался на свидетельство Маргет; я удивился и отважился привлечь его внимание к этому упущению.

— О, ее мнение, никем не подтвержденное, в расчет не принимается, — безразлично бросил мастер. — Маргет уверяет, что видела тебя, — суцая чепуха, я больше полагаюсь на других свидетелей и на твое честное слово. Маргет совсем еще ребенок, как она вас различает? Я согласился призвать тебя к ответу, чтоб только ублажить племянницу, а со Шварцем мне и разговаривать нечего: я его заверения в грош не ставлю. Эти двойники болтают, что им взбредет на ум, грезят наяву. Шварц — неплохой парень, никого умышленно не обидит, но все его клятвы для меня — пустой звук. Шварц совершил ошибку, будь на его месте другой, я бы назвал такой поступок преступлением, но в результате моя племянница явно скомпрометирована; горничная не сохранит тайну: она, бедняжка, устроена, как все горничные на свете; доверить тайну горничной — все равно что наполнить водой корзину. Двойник просто ошибся — что ж, ошибка так ошибка, все равно я уже принял решение... Колокол звонит — полночь... Это значит — Шварца ждет перемена... Сегодня я доведу дело до конца, и пусть он ошибается сколько душе угодно, лишь бы не позорил мою племянницу.

Злорадствовать, конечно, грешно, но я ничего не мог с собой поделать. Подумать только — ненавистного соперника вот-вот уберут с моего пути, мой путь отныне свободен! Я был вне себя от счастья! Под конец мастер спросил для проформы, не я ли вторгся в спальню Маргет.

Я тут же дал отрицательный ответ. Раньше я всегда стыдился клеветы, а теперь солгал и даже не почувствовал угрызений совести: так страстно мне хотелось погубить того, кто стоял между мной и моей обожаемой маленькой женой.

— С меня достаточно твоего слова, это, собственно, все, что я хотел знать, — сказал на прощанье мастер. — Он женится на Маргет до захода солнца!

Боже правый! Желая погубить двойника, я погубил себя! [Этими словами заканчивалась XXV глава В конце июня 1905 г Марк Твен сделал после них приписку «Сжег все остальное (30000 слов) сегодня утром Слишком многословно» Тогда же он возобновил работу над рукописью после длительного перерыва .]

Как я был несчастен! Тягуче-медленно, нескончаемо долго тянулось время. Ну почему, почему не приходит Сорок четвертый, неужели он так и не придет? Мне, как никогда, нужны его помощь и утешение.

Стояла мертвая полуночная тишина; меня пронизывала дрожь, по коже бегали мурашки: я боялся привидений, и не удивительно; Эрнест Вассерман как-то сказал, что в замке их — тьма-тьмущая и оттого здесь постоянно стоит туман; впрочем, один лишь Эрнест Вассерман выражается так неточно: тьма-тьмущая — понятие множественное и к призракам неприменимое, они редко разгуливают большими компаниями, предпочитают появляться по одному, по два, и тогда... тогда они перемещаются во мраке, тают, как струйки дыма, и сквозь них видна мебель.

Боже, что это?... Снова тот же звук!... Я дрожал, как студень, а сердце у меня превратилось от страха в ледышку. Такой сухой щелкающий звук — кл-лакети, клак-лак, кл-лакети, клак-лак — неясный, приглушенный, доносящийся из дальних закоулков и коридоров замка, — но все отчетливей и ближе, ей-богу, все отчетливей и ближе! Я сжался в комок и затрясся, как паук на пламени свечи в предсмертной агонии. Скелеты все ближе, а что делать мне? — подумал я.

Что делать? Конечно, закрыть дверь! Если хватит силы до нее добраться... но силы иссякли, ноги стали, как ватные; тогда я спустился на пол и пополз, судорожно переводя дыхание, прислушался — приближается ли шум? Он приближался! Я выглянул в коридор; в его мрачной глубине белел на полу квадрат лунного света. Какой-то верзила прыгал через отражение, подняв руки, неистово дергаясь всем телом, издавая щелканье и треск; миг — и он скрылся во мраке, но шум не стих, он становился все громче и резче; я захлопнул дверь, отполз в сторону и повалился в полном изнеможении.

А он все нарастал, этот ужасный шум, вот он уже у самого порога; вдруг в комнату ворвался верзила, захлопнул дверь и запрыгал, завертелся вокруг меня! Нет это был не скелет, а долговязый парень, одетый в невообразимо яркий, диковинный клоунский наряд: высокий стоячий воротник закрывает уши, потрепанная старая шляпа, похожая на опрокинутую бадью, лихо сдвинута набекрень, в непрестанно движущихся пальцах — резные костяшки; ударяясь друг о дружку, они издают ужасный треск; рот у верзилы растянут до ушей, неестественно красный, толстогубый, зубы — белые, так и сверкают, а лицо черное, как ночь. Страшное привидение прыгало чуть не до потолка, завывало, как сто чертей: «Я-аа, я-аа, я-аа», трещало костяшками, а потом вдруг завело песню на испорченном английском:

*— Красотки из Баффало, я жду вас вечерком,
Я жду вас вечерком,
Я жду вас вечерком
Красотки из Баффало, я жду вас вечерком,
Потом я с вами вместе станцую под луной!*

[Сорок четвертый в образе верзилы в клоунском костюме изображает одновременно двух традиционных персонажей негритянского музыкального шоу «Красотки из Баффало» — песня Кула Уайта (Джона Ходжеса), одного из первых черных менестрелей.]

Вдруг привидение разразилось громким хохотом, заходило колесом, как крылья ветряной мельницы в бурю, приземлилось с громким стуком рядом со мной и радостно возопило:

— Эй, масса Джонсинг, как поживать изволите, ваше вельможество?

— Смилуйся, грозный призрак! — едва выговорил я. — О, если...

— Господь с тобой, золотце, я вовсе не грозный призрак, я — негр, полковника Бладсона негр. Из Южной Каролины. На триста пятьдесят лет назад забежал: вижу, мальчуган как в воду опущенный ходит, дай, думаю, потешу его, сыграю на банджо; глядишь, он и повеселеет. Лежи, лежи, босс, и слушай музыку. Я спою тебе, золотце, как рабы-негры поют, когда их тоска по дому гложет, когда им жизнь не в радость.

Верзила достал из пустоты диковинный инструмент, который он назвал банджо, сел, уперся щиколоткой левой ноги в правое колено, шляпу-бадью сдвинул на самое ухо, положил банджо на колено; потом, зажав пальцами левой руки гриф банджо, стремительно прошелся по струнам, извлекая вибрирующий звук, и удовлетворенно потряхнул головой, как бы говоря: «Не будь я музыкант, если не переверну тебе душу!» Он любовно склонился к банджо, подкрутил колки и, настраивая инструмент, коснулся пальцами звенящих струн. Затем уселся поудобнее, поднял к потолку доброе черное лицо, отрешенное и печальное, струны загудели, и тогда... Низкий волнообразный голос поплыл к небесам — ласковый, божественный голос, такой проникновенный и волнующий.

*Как далеко отсюда отчий дом,
У Суон— реки, у Суон-реки,
Но сердцем я и поныне в нем,
Там доживают век свой старики.*

[Песню «Отчий дом» написал С. Фостер в 1851 г для музыкального шоу Кристи.]

И так — строфа за строфой — живописал он бедный покинутый дом, радости детства, черные лица, дорогие для него, которые он больше никогда не увидит; певец сидел, погруженный в свою музыку, все так же глядя вверх, и я не слышал музыки прекрасней, проникновенней и печальнее — воистину, ничего подобного не звучало под луной! Чарующая магия музыки совершенно преобразила неуклюжего верзилу, вся грубость сошла с него, он стал прекрасен, как сама песня; их связывала гармония, он был неотъемлемой частью песни, зримым воплощением чувств, в ней высказанных; я подумал, что белый певец в изысканном наряде с изысканными манерами наверняка опошил бы эту песню, сделал дешевым ее благородный пафос.

Я сомкнул веки, пытаюсь представить себе тот покинутый дом, и, когда последние звуки, все отдаляясь и отдаляясь, замерли вдали, я открыл глаза и огляделся. Певец исчез, исчезла и моя комната; передо мной смутно маячил дом из песни — бревенчатая хижина под раскидистыми деревьями; видение обволакивали нежным светом летние сумерки и та же музыка; она стихала, растворялась, рассеивалась в воздухе, и вместе с ней, как сон, рассеивалось, таяло в воздухе виденье; сквозь него уже смутно проступали призрачно-бледные очертания моей комнаты и ее обстановки; на их фоне, как через вуаль, еще проглядывалась исчезающая бревенчатая хижина. Когда превращение завершилось, моя комната снова обрела былой вид, и в камине запылал огонь, на месте черного певца восседал Сорок четвертый с самодовольной улыбкой на лице.

— Твои глаза застилают слезы — они мне дороже аплодисментов, — заявил он, — но это ерунда, я добился бы такого же эффекта, будь они стеклянные, твои глаза. Стеклянные? Да я бы выжал слезы из глаз деревянного идола. Поднимайся, Август, давай подкрепимся!

О, как я был счастлив снова увидеть Сорок четвертого! Стоило ему появиться, и моих

страхов как не бывало, я и думать забыл про свои прискорбные обстоятельства. К тому же его присутствие вызывало непонятный прилив сил, пьянило без вина; душа воспаряла, и я сразу чувствовал, что он здесь, видимый или невидимый.

Когда мы закончили свою трапезу, Сорок четвертый закурил, и мы сели поближе к огню — обсудить мое плачевное дело и решить, что можно предпринять. Мы рассмотрели его со всех сторон, и я высказал мнение, что сейчас первое и самое главное — заткнуть рот сплетнице-горничной, чтобы она не компрометировала Маргет; я передал ему слова мастера, ничуть не сомневавшегося, что через час-другой все узнают от горничной про злосчастный случай. Затем следовало как-то помешать свадьбе, если это возможно.

— Сам видишь, Сорок четвертый, как много передо мной неодолимых преград, но ты все же подумай, найди выход. Попробуй, прошу тебя.

К своему великому огорчению, я заметил, что на него снова нашла блажь. Ах, как часто в трудную минуту, когда я уповал на его светлый ум, Сорок четвертый принимался чудить. Вот и сейчас он заявил, что, если я изложил суть дела правильно, ничего трудного в нем нет; главное — заставить горничную молчать и помешать Шварцу жениться на Маргет. И Сорок четвертый, излучая дружелюбие, предложил убить их обоих!

У меня сердце оборвалось, и я тут же сказал Сорок четвертому, что его идея безумна, и если он не шутит... Сорок четвертый не дал мне закончить, в его скучающих глазах загорелся огонек: он жаждал спора. Меня всегда угнетал этот огонек: Сорок четвертый любил пустить пыль в глаза своим умением спорить, а у меня его речи вызывали тоску — тоску и раздражение; когда на него находит блажь, спорить с ним что черпать воду решетом.

— Почему ты считаешь мою идею безумной, Август? — спросил он, делая большие глаза. Бессмысленный вопрос! Ну что можно сказать в ответ на такую глупость?

— Господи, — простонал я, — разве ты сам не понимаешь, что она безумна? С минуту он глядел на меня озадаченно, теряясь в догадках.

— Я не улавливаю ход твоих мыслей, Август. Понимаешь, нам не нужны эти люди. Насколько мне известно, они никому не нужны. Они всюду, куда ни глянь, я дам их тебе, сколько душе угодно. Слушай, Август, мне кажется, у тебя совсем нет практического опыта. Сидишь здесь взаперти и ничего не знаешь о жизни. Таких людей, как горничная и Шварц, — не перечесть. Я могу снова взяться за дело, и через пару часов их здесь будет видимо-невидимо.

— погоди, Сорок четвертый! Да неужели все дело в том, что кто-то займет их место? Разве это важно? А ты не думаешь, что следовало бы спросить их мнение?

Такую простую мысль ему пришлось вдалбливать, а когда она наконец уложилась в его голове, он произнес, будто его осенило:

— О, я об этом не подумал! Да, да, теперь понимаю, — и, просветлев лицом, добавил: — Но ведь им суждено умереть так или иначе, так не все ли равно, когда? Не так уж важна человеческая жизнь: людей много, очень много. Так вот, после того, как мы их убьем...

— Проклятье! Мы не станем их убивать, и больше ни слова об убийстве: твоя идея жестока, по-моему, она постыдна; позор, что ты цепляешься за нее и не хочешь с ней расстаться. Можно подумать, что это твой ребенок, да еще первенец.

По всему было видно, что Сорок четвертый сражен наповал. Но его смирение причинило мне боль: я почувствовал себя негодяем, будто ударил бессловесное животное, делавшее, по своему разумению, добро и не желавшее никому зла; в глубине души я негодовал на себя за то, что обошелся с ним грубо в такое время: ведь я с первого взгляда понял, что на Сорок четвертого опять нашла блажь, разве он виноват, что у него в голове каша? Но я не сумел перебороть себя сразу, сказать ему доброе слово и тем самым загладить свою вину — нет, мне требовалось время, чтоб пойти на мировую.

В конце концов я разбил лед, и Сорок четвертый постепенно оживился, заулыбался, он радовался, как ребенок, что мы снова друзья.

Сорок четвертый рьяно взялся за ту же проблему, и вскоре придумал другой план. На сей раз он решил превратить горничную в кошку и сотворить еще несколько Шварцев — тогда Маргет не сможет отличить их друг от друга и выбрать настоящего, а закон не позволит ей взять в мужа целый гарем. Свадьбу придется отложить.

Здорово придумано! И слепому видно, что план прекрасный. Я был рад похвалить приятеля, и тем самым загладить прошлую обиду. Сорок четвертый был на седьмом небе от счастья. Минут через десять послышалось заунывное мяуканье кошки, бродившей где-то по соседству, и Сорок четвертый весело потер руки:

— А вот и она.

— Кто — она?

— Горничная.

— Не может быть! Ты уже превратил ее в кошку?

— Да. Она не ложилась спать, ждала соседку по комнате, чтоб посплетничать. А та была на свидании с кавалером — новым помощником привратника. Еще минута-другая, и было бы слишком поздно. Открой дверь, она явится на свет, и мы послушаем, что она скажет. Я не хочу, чтобы горничная меня узнала, и обернусь магом. Это принесет ему еще больше славы. Хочешь, я научу тебя понимать по-кошачьи?

— Очень хочу, Сорок четвертый, научи.

— Хорошо. А вот и она, — произнес он голосом мага, и в то же мгновение передо мной стоял двойник мага, облаченный в его мантию и все прочее. Я тут же обернулся невидимкой: не хотел, чтоб кто-нибудь видел меня в компании проклятого колдуна, даже кошка.

В комнату понуро вошла очень красивая кошечка. Едва завидев колдуна, она взметнула хвост, выгнула спинку, зашипела и наверняка умчалась бы прочь, но я, пролетев у нее над головой, вовремя захлопнул дверь. Кошечка отступила в угол, не сводя с Сорок четвертого блестящих немигающих глаз.

— Это ты превратил меня в кошку, — сказала она. — Подлый поступок, я тебе ничего плохого не сделала.

— Какая разница? Ты сама навлекла на себя беду.

— Чем же я ее навлекла?

— Собиралась рассказать про Шварца и скомпрометировать свою молодую хозяйку.

— Лопни мои глаза, неправда!

— Не клянись попусту. Ты даже спать не ложилась, чтоб посплетничать. Мне все известно.

Кошка виновато потупилась. Она решила не спорить с магом. Подумав минуту-другую, спросила с неким подобием вдоха:

— Как ты думаешь, они будут хорошо со мной обращаться?

— Да.

— Ты это знаешь наверняка?

— Конечно, знаю.

Кошка снова задумалась.

— Лучше я буду кошкой, чем служанкой, — вздохнула она. — Служанка — рабыня. Улыбаешься, делаешь вид, что тебе весело, притворяешься счастливой, а тебя знай бранят за каждый пустяк, как фрау Штейн и ее дочка, к примеру, — насмеются, оскорбляют, а какое у них на это право? Они мне жалованье не платят. Я никогда не была их рабыней; ненавистная жизнь, отвратительная жизнь! Кошке и то лучше живется. Так ты говоришь, все будут обходиться со мной хорошо?

— Я сказал — все.

— И фрау Штейн и ее дочь?

— И они тоже.

— Ты сам об этом позаботишься?

— Да, обещаю тебе.

— Тогда — благодарю. Они все тебя боятся, но большинство — ненавидит. Я и сама тебя ненавидела — раньше. Теперь-то я вижу, что ты совсем другой. Теперь мне кажется, что ты добрый; не знаю почему, но думаю, что ты добрый, хороший человек, и я тебе доверяю. Верю, что ты защитишь меня.

— Я сдержу обещание.

— Верю. Оставь меня в обличье кошки. У меня была горькая жизнь... Как они могли так грубо помыкать мной, эти Штейны, ведь я — бедная девчонка, ничего и никого в целом мире у меня нет, зла я им не делала... Да, я собиралась рассказать историю с двойником. И рассказала бы, из мести. Вся семейка говорила, что Шварц подкупил меня, вот я его и впустила, а это — ложь! Даже молодая хозяйка поверила в их ложь — я по глазам видела; она, правда, пыталась меня защитить, да потом прислушалась к наговору. Да, я хотела разболтать историю со Шварцем. Мне не терпелось посплетничать. Я была зла. А теперь я рада, что мне не удалось это сделать, потому что вся злость моя пропала. Кошки не помнят зла. Не превращай меня в служанку, оставь лучше кошкой. Вот только... После смерти христиане отправляются... Я знаю, куда они отправляются; кто в одно место, кто в другое. А кошки, как ты думаешь, куда отправляются кошки?

— Никуда. После смерти, разумеется.

— Тогда я останусь кошкой, не возвращай мне человеческого обличья. Можно мне съесть эти объедки?

— Конечно, ешь на здоровье.

— Наш ужин стоял на столе, но горничная испугалась чужой кошки и прогнала меня из комнаты, я так и осталась голодной. Еда удивительно вкусная, как она сюда попала? Ничего подобного в замке никогда не бывает. Это колдовская еда?

— Колдовская.

— Я сразу угадала. А она безвредная?

— Совершенно безвредная.

— У тебя ее много?

— Сколько душе угодно — днем и ночью.

— Какая роскошь! Но ведь это не твое жильё?

— Нет, но я здесь часто бываю, и еда тут всегда найдется. Если хочешь, можешь кормиться в этой комнате.

— Слишком все хорошо складывается, трудно поверить.

— Можешь поверить. Приходи, когда захочешь, и мякни возле двери.

— Как это мило... Да, теперь я понимаю, что едва избежала опасности.

— Какой опасности?

— Опасности не превратиться в кошку. Не было бы счастья, да несчастье помогло — ввалился этот пьяный дурак; не окажись я там... но я оказалась, и по гроб тебе благодарна. Еда — сказочная, ничего подобного не пробовала, сколько здесь живу, ей-богу. Спасибо, что ты разрешил мне приходить сюда подкормиться.

— Приходи, когда хочешь.

— В долгу не останусь. Раньше я мышей не ловила, но теперь чувствую в себе эту способность и буду стеречь от мышей ваше жильё. Теперь у меня на душе веселее: не так уж все

плохо, а сюда я пришла унылая. Поселиться мне здесь можно? Как ты думаешь? Ты не возражаешь?

— Нисколько. Располагайся, как дома. У тебя будет своя кровать. Я об этом позабочусь.

— Вот удача! Никогда бы не подумала, что кошкам так сладко живется.

— У них есть свои преимущества.

— Ну, теперь можно держать хвост трубой. Пойду прогуляюсь, посмотрю, не шалют ли мыши. Augévoig, большое спасибо за все, что ты для меня сделал. Я скоро вернусь, — и она удалилась, помахивая хвостом, что означало довольство.

— Ну вот, — сказал Сорок четвертый, — часть плана мы уже осуществили и не принесли горничной никакого вреда.

— Никакого, — согласился я, принимая свой обычный вид, — мы оказали ей услугу. И я на ее месте испытывал бы точно такие же чувства. Сорок четвертый, как это здорово — слушать кошачий язык и понимать каждое слово. А могу я научиться говорить по-кошачьи?

— Тебе и учиться не придется. Я вложу в тебя это умение.

— Прекрасно. Когда?

— Сейчас. Ты уже владеешь им. Говори: «Мальчишка стоял на пылающей палубе» [*Стихотворение Фелиции Химан «Касабьянка» было чрезвычайно популярно в Ганнибале в школьные годы Марка Твена .*] на котопульте или котоплазме — словом, на кошачьем языке.

— Мальчишка... повтори, что я должен сказать.

— Это стихотворение. Оно еще не написано, но это прекрасное, волнующее стихотворение. Английское. Постой, я вложу его тебе в голову на кошачьем. Все... Ты его уже знаешь. Читай!

Я прочел стихотворение, не упустив ни единого «мяу»; оно действительно прекрасно звучит на этом языке — удивительно трогательно. Сорок четвертый сказал, что если бы это стихотворение продекламировать на заборе лунной ночью, люди прослезились бы, особенно их тронул бы квартет исполнителей. Я возгордился: не так уж часто Сорок четвертый баловал меня похвалой. Я был рад завести кошку, тем более сейчас, когда мог объясниться с ней по-кошачьи. И ей, конечно, будет хорошо у меня. Сорок четвертый согласился.

— Сегодня ночью мы сделали доброе дело для бедняжки горничной, — сказал я. — Я согласен, что она скоро свыкнется со своей судьбой и будет счастлива.

— Да, как только у нее появятся котята, — кивнул он. — Долго ждать не придется.

Потом мы стали придумывать ей имя, но Сорок четвертый вдруг заявил:

— Хватит на сегодня, лучше сосни. — Он взмахнул рукой, и этого было довольно: не успел он ее опустить, как я уже спал крепким сном.

Я проснулся бодрый, полный сил и обнаружил, что проспал чуть больше шести минут. Сон, в который меня погружал Сорок четвертый, не зависел от времени, был ему неподвластен, не имел с ним никакой связи; порой он занимал один временной интервал, порой другой; порой мгновение, порой полдня — это обуславливалось тем, прерывался он или нет, но, независимо от долгого или короткого сна, результат всегда был один и тот же — прилив бодрости, полное восстановление сил, физических и умственных.

Сейчас мой сон прервался: я услышал голос. Открыв глаза, я увидел, что стою в проеме полуоткрытой двери. Разумеется, стоял там не я, а Эмиль Шварц, мой двойник. Лицо у него было печальное, и мне стало немного совестно. Неужели он узнал, что здесь произошло в полночь, и явился упрекать меня в три утра?

Упрекать? За что? За то, что из-за меня его несправедливо обвинили в невоспитанности? Ну и что? Кто проиграл в результате? Я и проиграл — потерял девушку. А кто выиграл? Шварц и никто другой: она досталась ему. Впрочем, ладно, пусть упрекает; раз он недоволен, поменяемся местами; уж я-то не стану возражать. Благодаря таким логическим рассуждениям, я снова обрел почву под ногами и посоветовал своей совести пойти принять что-нибудь тонизирующее и предоставить мне самому разобраться в этом деле, как подобает здоровому человеку. Тем временем я смотрел на себя со стороны, и на этот раз любовался собой. Поскольку я проявлял благородство по отношению к Шварцу, я сразу подобрел к нему, и былое предубеждение постепенно рассеялось. Я не намеревался проявлять благородство, но раз уж так вышло, естественно, приписал заслугу себе и немного возгордился — такова уж человеческая натура. В ней причина многих безрассудных поступков — до тысячи в день, по подсчетам Сорок четвертого.

По правде говоря, я никогда раньше не разглядывал своего двойника. Вид его был мне невыносим. Я старался не смотреть в его сторону и до сего времени не мог оценить Шварца беспристрастно и справедливо. Но теперь мог, потому что оказал ему огромную услугу, делающую мне честь, и это совершенно преобразило Шварца в моих глазах.

В те дни я и понятия не имел о некоторых вещах. К примеру, о том, что мой голос звучит для других не так, как для меня самого; но однажды Сорок четвертый заставил меня говорить перед машиной [*Марк Твен одним из первых начал пользоваться в работе диктофоном*], которую приволок домой из набега в нерожденные столетия, а потом дал ей обратный ход; я услышал свой голос, привычный для других, и согласился — у него так мало сходства с привычным для меня, что, не имея я перед собой доказательств, я бы отказался признать его за свой собственный голос.

И еще: я всегда считал, что другие видят меня таким, каким я сам себя вижу в зеркале, но, оказывается, все обстоит иначе. Как-то раз Сорок четвертый разбойничал в будущем, вернулся с фотоаппаратом и сделал несколько моих снимков — так он называл эти вещи. Не сомневаюсь, что названия для них он сам придумал к случаю — у него это в обычае из-за отсутствия всяких принципов, — и он всегда ругал снимки, на которых я походил на свое отражение в зеркале, и превозносил до небес те, что казались мне очень плохими.

И снова это странное явление. В двойнике, стоявшем в дверях, я видел себя глазами других людей, но он и «я», знакомый по отражению в зеркале, были похожи, и только: не как родные братья — нет, мы были похожи не больше, чем зять с шурином. Такого сходства часто вообще не замечаешь, пока тебе на него не укажут, да и тогда спорно — факт это или игра воображения. Как в случае с облаком, похожим на лошадь. Тебе говорят: вот облако, похожее на лошадь; ты

смотришь и соглашаешься, хоть мне лично часто попадались облака, вовсе не похожие на лошадь. Облака часто схожи с лошадью не больше, чем с шурином. Я не стал бы говорить об этом каждому встречному и поперечному, хоть знаю, что так оно и есть. Я своими глазами видел облака, похожие на шурина, хоть прекрасно знал, что вовсе они на него не похожи. По моему, всякие подобия — чистая галлюцинация.

Так вот, Шварц стоял в дверях в ярком электрическом свете (еще один грабеж Сорок четвертого!), похожий на меня почти как зять на шурина. Я вдруг подумал, что никогда раньше не видел этого юношу. Облик его был мне знаком, не отрицаю, но потому лишь, что я знал, кто он такой; повстречайся он мне в другой стране, я бы в лучшем случае обернулся ему вслед и сказал сам себе: «Кажется, я где-то видел его раньше!», а потом выбросил бы эту мысль из головы как пустяк, не стоящий внимания.

А теперь извольте — вот он: вернее, вот он — я. Меня он заинтересовал — наконец-то! Двойник был несомненно хорош собой — красивый, статный, непринужденный в обращении, воспитанный, доброжелательный. Лицо — какое бывает в семнадцать лет у сына белокурых родителей: нежное, как персик, цветущее, здоровое. Одет точно так же, как я, до последней пуговицы — или ее отсутствия.

Я остался доволен видом спереди. Но я никогда не видел себя со спины, а было любопытно поглядеть.

— Будь добр, повернись ко мне спиной на минутку, всего на минуточку... — попросил я очень вежливо. — Спасибо.

Однако мы смутно представляем себе, как выглядим со спины! Шварц и со спины выглядел хорошо, мне не к чему было придраться, но я будто впервые увидел эту спину, спину совершенно незнакомого человека — волосы и все прочее. Если б я шел за ним по улице, мне бы и в голову не пришло проявить к его спине какой-нибудь личный интерес.

— Еще раз повернись, сделай одолжение... Большое спасибо.

Теперь оставалось последнее и решающее — определить, умен ли Шварц. Я отложил проверку на конец, что-то удерживало меня — какая-то боязнь, сомнения. Честно говоря, одного взгляда было достаточно — его лицо светилось умом. Я опечалился: двойник был из другого, более совершенного мира; он путешествовал в мирах, которые мне, прикованному к земле, были недоступны. Лучше б я позабыл об этой проверке.

— Проходи и садись, — предложил я. — Рассказывай, что тебя привело сюда. Хочешь поговорить со мной?

— Да, — подтвердил Шварц, усаживаясь. — Если ты согласен выслушать меня.

Я на мгновение задумался о том, как защититься от неизбежных упреков, и внутренне приготовился к отпору. Он повел свой рассказ, и печаль, омрачавшая юное лицо, отразилась и в голосе, и в словах:

— Ко мне приходил мастер, он обвинил меня в том, что я посягнул на святость девической спальни его племянницы.

Странное место для паузы, но он замолчал, грустно глядя на меня; так порою во сне человек умолкает и ждет, что кто-то другой подыграет ему, не зная текста роли. Я должен был что-то сказать и за неимением лучшего выпалил:

— Искренне сожалею. Надеюсь, ты сможешь убедить мастера, что он ошибся? Ведь сможешь?

— Убедить его? — переспросил он с отсутствующим видом. — Зачем мне убеждать его?

Тут и я растерялся. Никак не ожидал подобного вопроса. Думай я неделю, мне б такое и в голову не пришло. И я сказал единственное, что можно было сказать в таком случае:

— Но ты хочешь это сделать, да?

Он взглянул на меня с нескрываемой жалостью, если я разбираюсь во взглядах. Этот взгляд говорил деликатно, но откровенно: «Увы! Бедное создание, и ничего-то он не понимает». Потом Шварц произнес:

— Я не знаю, есть ли у меня такое желание. Оно... впрочем, это не имеет значения.

— Боже правый! Для тебя не имеет значения, опозорен ты или нет?

— Что с того? — он простодушно покачал головой. — Все это несущественно!

Я не верил своим ушам.

— Ну, если для тебя позор ничего не значит, подумай о другой стороне дела, — сказал я. —

Сплетня разойдется и может опозорить девушку.

Мои слова явно не возымели на него действия.

— Неужели? — изумился он с наивностью малого ребенка.

— Конечно, может! Ты бы не хотел, чтоб это случилось?

— Н-у-у (задумчиво), не знаю. Не пойму, почему это так важно.

— Вот дьявольщина! Какая-то детская глупость... Нет, это просто... Можно в отчаяние прийти.

Ты любишь ее, и в то же время тебе все равно, загубил ты ее доброе имя или нет?

— Я ее люблю? — У Шварца был обескураженный вид человека, безуспешно пытающегося разглядеть что-то сквозь туман. — Да я вовсе не люблю ее, с чего ты взял?

— Подумать только! Нет, это уже слишком! Да провалиться мне на этом месте, если ты не ухаживал за ней!

— Да, пожалуй, это правда.

— Еще бы, еще бы! Что же получается — ухаживал, а сам ее не любишь?

— Нет, это не совсем так. Я, кажется, любил ее.

— Ну, продолжай, продолжай, я пока отдышусь, приду в себя. Ох, даже голова закружилась.

— Теперь вспомнил, — заявил он безмятежно, — да, я любил ее. У меня это вылетело из головы. Впрочем, не то чтобы вылетело, просто это было несущественно, и я думал о чем-то другом.

— Скажи, а для тебя хоть что-нибудь существенно?

— Разумеется, — улыбнувшись, живо отозвался Шварц. — Но быстро сник и добавил скучающим голосом: — Но не такие пустяки.

Слова двойника почему-то тронули меня: мне послышался в них стон изгнанника. Какое-то время мы сидели молча, думая каждый о своем, потом я снова начал разговор.

— Шварц, я в недоумении: такая милая девушка, ты, несомненно, любил ее, а теперь...

— Да, — спокойно согласился он, — ты прав. Кажется, это было вчера... да, думаю, вчера.

— О, ты думаешь! Но все, конечно, несущественно. Господи, и зачем тебе любовь? Такой пустяк! Но теперь ты к ней изменился. В чем дело? Что произошло?

— Что произошло? Ничего. Насколько мне известно, ничего.

— Вот так так! Нет, видит бог, у меня ум за разум зашел! Послушай, Шварц, ты же хотел жениться на Маргет!

— Да. Совершенно верно. Я полагаю... вчера? Да, пожалуй, вчера. Я должен жениться на ней сегодня. Если память мне не изменяет — сегодня, во всяком случае, очень скоро. Такова воля мастера. Он приказал мне жениться.

— Ну... просто слов не нахожу!

— В чем дело?

— Ты и к женитьбе так же безразличен, как ко всему прочему. Никаких чувств, никакого интереса. Слушай! Должно же у тебя быть сердце, хоть и за семью замками! Открой его, дай ему воздуха, покажи хоть самый краешек! Господи, как бы я хотел оказаться на твоём месте!

Неужели тебя не волнует, женишься ты на Маргет или нет!

— Волнует? — удивленно переспросил Шварц. — Конечно нет. Ты задаешь поистине странные вопросы. Я гадаю, гадаю, гадаю — пытаюсь разобраться в тебе, понять тебя, но вокруг туман, сплошной туман; ты — загадка, тебя никто не поймет!

Какая наглость! И это он про меня! Он — хаос невообразимой зауми, он, кто и пары слов не молвит в простоте, чтоб сам черт не сломал над ними голову.

— Скажите на милость! — вспыхнул я. — Ты не можешь меня понять! Здорово придумал! Гениально! Слушай, когда ты появился здесь, я полагал, что мне известно, зачем ты пожаловал, я думал, что все наперед знаю, я бы сразу сказал, что ты пришел упрекать меня за то... — тут я осекся и после легкой заминки перевел разговор на другое: — Шварц, когда ты явился, на душе у тебя было беспокойно, я по лицу видел, но если ты и намекнул мне о цели своего прихода, я не уловил, каким образом. Так как же — дал ты мне понять, зачем пришел, или нет?

— О, нет, — ответил он, сразу оживившись, — все, о чем мы говорили, — несущественно. Можно, я скажу, зачем пришел, сейчас? Прошу тебя, выслушай! Я буду так благодарен!

— Ну, разумеется, с радостью! Наконец-то ты проснулся! О, да у тебя есть и сердце, и страсть — вон, горит в глазах, как звезда! Начинай, я — весь внимание, весь сочувствие!

Да, теперь он был совсем другой. Туман рассеялся, смятение, растерянность исчезли с его лица, ясного, одухотворенного, полного жизни.

— Я пришел к тебе не для праздного разговора, — сказал Шварц. — Напротив. Я пришел с дрожью в коленках, пришел просить, умолять, заклинать тебя сжалиться надо мной!

— Сжалиться — над тобой?

— Да, сжался, помилосердствуй — освободи меня!

— погоди, Шварц, я... я не понимаю. Ты же сам сказал, что если они захотят женить тебя, тебе без...

— О, дело не в этом! Женитьба мне и впрямь безразлична. Я говорю о других оковах, другой неволе (он воздел руки к небу). Освободи меня от них, освободи от оков плоти, брэнной, тленной плоти, от ее ужасной тяжести, пут, бремени; от этого ненавистного мешка, полного скверны, куда силой затолкали мой дух, повредив, испачкав грязью его белоснежные крылья; о, смилуйся и выпусти его на волю! Упроси злобного колдуна дать мне свободу — он был здесь, я видел, как он выходил отсюда, и, конечно, он снова вернется! Обещай мне дружбу, брат мой! Ведь мы братья, нас выносило одно чрево, я жив благодаря тебе и исчезну с твоей смертью; брат мой, будь мне другом, умоли колдуна освободить мой дух от брэнной плоти! О, человеческая жизнь, земная жизнь, скучная жизнь! Она так унижительна, так горька; человеческое честолюбие суетно, спесь — ничтожна, тщеславие — по-детски наивно; а слава, столь ценимая человеком, почести — боже, какая пустота! Здесь я слуга — я, никогда не бывший в услужении; здесь я раб, да, раб среди жалких подлых королей и императоров, которых делает таковыми их платье, а они, в свою очередь, рабы брэнной плоти, сотворенной из праха.

— Подумать только, — продолжал Шварц, — и ты решил, что я пришел к тебе, озабоченный другими, суетными делами, сущими пустяками! Как могут они занимать меня, духа эфира, жителя величественной страны грез? Мы не знаем, что такое мораль, ангелам она неведома, мораль — для тех, кто нечист душой; у нас нет принципов, эти оковы — для людей. Мы любим красавиц, пригрезившихся нам, и забываем их на следующий день, чтоб влюбиться в других. Они тоже видения из грез, — единственная реальность в мире. Позор? Нас он не волнует, мы не знаем, что это такое. Преступление? Мы совершаем их каждую ночь, пока вы спите: для нас такого понятия не существует. У нас нет личности, определенной личности, каждый из нас — совокупность личностей; мы честны в одном сне и бесчестны в другом, мы храбро сражаемся в одной битве и бежим с поля боя в другой. Мы не носим цепей, они для нас

нестерпимы, у нас нет дома, нет тюрьмы, мы жители вселенной; мы не знаем ни времени, ни пространства — мы живем, любим, трудимся, наслаждаемся жизнью; мы успеваем прожить пятьдесят лет за один час, пока вы спите, похрапывая, восстанавливая свои распадающиеся ткани; не успеете вы моргнуть, как мы облетаем вокруг вашего маленького земного шара, мы не замкнуты в определенном пространстве, как собака, стерегущая стадо, или император, пасущий двуногих овец, — мы спускаемся в ад, поднимаемся в рай, резвимся среди созвездий, на Млечном пути. О, помоги, помоги мне, будь мне другом и братом в нужде; уговори мага, проси, умоляй его, он прислушается к твоей мольбе, он смилуется и освободит меня от ненавистной плоти!

Тронутый до глубины души, исполненный жалости к двойнику, я пропустил мимо ушей либо спустил ему насмешки и даже откровенную издевку над презируемым им человеческим родом; я вскочил, схватил его за руки и, стиснув их, горячо обещал Шварцу, что буду истово, самозабвенно умолять мага и не дам себе покоя, покуда он не внемлет моей мольбе либо не ответит решительным отказом.

Шварц от волнения не мог сказать ни слова, и я по той же причине утратил дар речи; мы снова молча взялись за руки, и крепкое пожатие передало то, что мы не сумели выразить в словах. В этот момент вошла кошка и остановилась поодаль, глядя на нас.

Под ее испытующим взглядом я сконфузился, пришел в замешательство, будто она — человек, и ненароком увидела сентиментальную сцену излияния чувств; я покраснел. Потому ли, что знал ее натуру в бытность человеком? А вот брата ее появление нимало не смутило, и я ощутил легкую досаду. Хоть на что, собственно, досадовать? Ведь никогда не угадаешь, какое происшествие взволнует его, а какое оставит равнодушным, — разве это новость для меня? Поеживаясь под неодобрительным взглядом кошки, я с неловкой учтивостью усадил Шварца и сам тяжело опустил на стул.

Уселась и кошка. Все еще не сводя с нас вьедливого пронизывающего взгляда, она недоуменно склонила голову налево, потом направо — совсем как настоящая кошка, озадаченная какой-то нечаянностью, раздумывающая, как лучше поступить. Потом она принялась намывать лапой мордочку с одной стороны — весьма неумело и ненаучно, надо сказать, почти каждый догадался бы, что она либо давно не имела практики, либо не знает, как это делается. Вымыв половину мордочки, кошка заскучала: она и умывалась, видно, для времяпрепровождения и теперь подумывала, чем бы еще заняться, чтоб убить время. Кошка уже сонно помаргивала, но вдруг ей на ум пришла новая идея, и она мгновенно встрепенулась: как она не додумалась до этого раньше! Кошка поднялась и отправилась осматривать мебель и другие вещи, обнюхивая и тщательно изучая все вокруг. Если перед ней был стул, она осматривала его ножки, потом, прыгнув на стул, обнюхивала сиденье и спинку; если предмет поддавался обследованию со всех сторон, кошка и обследовала его со всех сторон; если, к примеру, сундук стоял чуть поодаль от стены, она протискивалась в промежуток и внимательнейшим образом изучала заднюю стенку; желая разглядеть крупную вещь, вроде умывальника, кошка поднималась на задние лапы, изо всех сил тянулась вверх и пыталась сгрести передними предметы туалета, чтоб обнюхать их в удобном месте; подойдя к шкафу, она вытягивалась в струнку и ощупывала передней лапой ручку. Добравшись до стола, кошка припала к полу и, рассчитав расстояние, прыгнула, но промахнулась по неопытности; зависнув на краю, отчаянно карабкаясь и царапая стол когтями, она наконец благополучно забралась на стол и тут же принялась обнюхивать стоявшую там посуду; изогнув лапку, легонько подталкивала все, что можно было сдвинуть с места; скинув со стола прибор, она весело спрыгнула вниз — поиграть с ним. Кошка принимала очаровательнейшие позы — то, поднявшись на задние лапки, подожмет передние и поведет головкой из стороны в сторону, лукаво поглядывая на свою игрушку, то набросится на нее, откинет на середину комнаты и гоняется за ней повсюду, отбрасывая игрушку снова и снова, чтоб на бегу опять наподдать ей лапой и начать все сначала. Потом, притомившись от суеты, кошка решала взобраться на буфет или гардероб; если это ей не удавалось, она очень огорчалась; под конец, освоившись на новом месте, удовлетворенная и комнатой, и обстановкой, кошка утихомирилась, помурлыкала, одобрительно помахивая хвостом в промежутках между осмотром, и улеглась, изнеможенная, окончательно убедившись, что все хорошо и в ее вкусе.

Я люблю кошек и прекрасно знаю их повадки; будь я здесь впервые и прослышь, что кошка провела в комнате полчаса, прежде чем ей вздумалось ее осмотреть, я бы убежденно заявил:

— Не спускайте с нее глаз. Это — не настоящая кошка, это — подделка; в ее натуре есть какой-то порок — может статься, она родилась вне брака или несчастный случай задержал ее

развитие, но, насколько я понимаю, она не обычная христианская кошка.

А наша гостя, не зная, чем заняться, решила домыть мордочку, но никак не могла вспомнить, какая сторона уже вымыта, а потому вообще отказалась от этой затеи; она сонно покачивала головой и моргала, но время от времени стряхивала с себя сон и рассуждала вслух:

— Один из них — двойник, другой — настоящий печатник, но я их не различаю. Они и сами, поди, путаются. Я бы на их месте никогда не знала наверняка, кто я. Дамы говорили, что в спальню прошлой ночью вломился двойник, и я приняла сторону большинства из хитрости — единственной защиты служанки; хотела бы я знать, как дамы их распознали. Мне не верится, чтобы они отличили двойника от печатника, даже если их раздеть донага. Впрочем, у меня есть идея...

Я прервал ее рассуждения, продекламировав, будто про себя:

*— Мальчишка стоял на пылающей палубе,
Когда все с корабля сбежали...*

— тут я сделал паузу и изобразил глубокое раздумье.

Кошка вздрогнула от неожиданности.

— Это двойник, — прошептала она. — Двойники знают языки, всё знают — иногда, а порою вовсе ничего не знают. Это сказал Фишер, а может, и не Фишер, а его двойник: в этом заколдованном месте никогда не знаешь наверняка, с кем говоришь — с человеком или с его безбожным подобием. У двойников нет ни морали, ни принципов, говорил Фишер, а может, и не Фишер, а его двойник — поди разберись. Напоминаешь кому-нибудь: ты-де сказал то-то и то-то, а он отказывается, тогда соображаешь, что слышала это от двойника, — и так сплошь и рядом! Чаще всего и разницы не видно, — что сумасшедшим быть, что в этом замке жить. Уж лучше остаться кошкой и не иметь двойника, тогда, по крайней мере, знаешь, кто ты. Иначе — сама спутаешь. Если у двойников нет принципов, значит, двойник и вломился в спальню, но, опять же, если он был пьян, откуда ему ведомо, кто он — двойник или настоящий печатник, потерявший с похмелья голову, и — начинай сначала; каждый недостаточно уверен, чтобы быть уверенным, и достаточно неуверен, чтобы быть неуверенным. Так что здесь ничего нельзя сказать наверняка. Нет, ничего. А все же, думаю, тот, кто мяукал, — двойник; с ними такое случается — все языки знает, а через минуту, глядишь, и собственный позабыл (если он есть), а с человеком такого не бывает. Он чужого языка не знает и даже выучить его не может, во всяком случае — кошачьего. Фишер так и сказал, а может, не Фишер, а его двойник. Так что мяукавший — двойник. Это решено. Будь он христианином, ни за что бы не говорил на которакте и не выучил бы его... Ох, как я устала!

Я не открыл ей секрета, а притворился, что задремал; брату же и притворяться не пришлось: он уже слегка похрапывал. Мне хотелось разузнать, если удастся, что беспокоит кошку, я видел, что она встревожена и сидит как на иголках. Вскоре кошка издала звук, похожий на откашливание, я встрепнулся и посмотрел на нее, как бы говоря: я вас слушаю.

Она сказала с нарочитой любезностью:

— Уже очень поздно. Мне жаль беспокоить вас, джентльмены, но я устала и хочу спать.

— Боже правый! — воскликнул я. — Не обращай на нас внимания, умоляю. Немедленно ложись.

— В вашем присутствии? — удивилась кошка. Пришел мой черед удивляться, но я, сохраняя невозмутимое выражение лица, поинтересовался:

— Ты возражаешь?

— Возражаю ли я? Не сомневаюсь, вы согласитесь со мной, что столь странный вопрос вряд ли можно счесть вежливым ответом даме. Вы меня оскорбляете, сэръ. Прошу вас сейчас же избавить меня от вашего общества и увести с собой вашего друга.

— Выгнать его? Я не могу этого сделать. Он мой гость и сам решит, уйти ему или остаться. Это моя комната.

Я с трудом подавлял смех, поскольку был уверен, что подобное заявление, даже сделанное в мягкой форме, сразу собьет с нее спесь. Так оно и вышло.

— Ваша комната? О, приношу тысячу извинений, мне стыдно за свою грубость! Я тотчас ухожу и заверяю вас, я не виновата, я — жертва ошибки. Я полагала, что это моя комната.

— Она и есть твоя, никакой ошибки не произошло. Разве ты не видишь — вон твоя кровать. Она глянула, куда я указал, и очень удивилась:

— Вот чудеса! Пять секунд назад никакой кровати там не было. Ох, какая прелесть!

Она прыгнула на кровать — настоящая кошка, мгновенно позабывшая обо всем ради чего-то нового, настоящая женщина, жаждущая утолить свою природную потребность в красивых вещах, насладиться их изысканностью. Но кроватка и впрямь была великолепна! С балдахином на четырех столбиках, редкой породы дерева, украшенная затейливой резьбой, двадцати дюймов в ширину и тридцати в длину, с мягчайшими пуховыми подушками, вся в атласе, кружевах, гофрированных оборках. Кошка, любовно обнюхав, оцупав, перевероротив всю кровать, воскликнула в томлении и восторге:

— О, какое блаженство почивать в этой кроватке!

Ее восторг растрогал меня, и я радушно предложил:

— Ложись спать, Мэри Флоренс Фортескью Бейкер Джи Найтингейл [*Непримиримый враг сословных привилегий, М Твен дает кошке пышное аристократическое имя Но в данном случае оно не вымышлено Так звали английскую аристократку, ставшую знаменитой сестрой милосердия,-Флоренс Найтингейл (1820-1910).*], чувствуй себя как дома; кроватку подарил тебе сам маг, и это доказывает, что он — истинный друг, а не какой-то притворщик.

— Какое чудесное имя! — восхитилась кошка. — Оно — мое собственное? Можно, я буду так зваться? Где ты его нашел?

— Понятия не имею. Маг его где-то выудил, он на это мастер, а мне оно просто пришло на ум в самый удобный момент; я рад, что вспомнил твое новое имя, оно действительно прелестно. Ну, спи же, Бейкер Джи, располагайся, как хочешь!

— Ты так добр, дорогой двойник, моя признательность беспредельна, но, но... видишь ли, в чем дело... Мне никогда не приходилось ночевать в одной комнате с мужчиной, и я...

— Тебе здесь ничто не угрожает, Мэри, уверяю тебя...

— С моей стороны было бы черной неблагодарностью сомневаться в этом, я и не сомневаюсь, будь уверен, но именно теперь, — такого на моей памяти никогда не бывало — э... видишь ли, за меньший проступок мисс Маргет скомпрометирована и, боюсь, безнадежно, а если я...

— Ни слова более, Мэри Флоренс, ты права, совершенно права. Моя гардеробная достаточно просторна и удобна, я вполне могу без нее обойтись и перенесу туда твою кровать. Пошли... Вот мы и устроились. Уютно, удобно и очень мило, не правда ли? Решай — подходит?

Мэри чистосердечно призналась, что ей здесь нравится. Я присел и поболтал с ней, пока она знакомилась со своей новой комнатой: деловито проверила все вещи и на нюх и на оцупь, как умудренная опытом кошка, ибо уже начала приобретать сноровку в своем деле; под конец она особенно придирчиво осмотрела запор на двери — встала на задние лапы, а передними двигала задвижку взад и вперед, пока не освоила все хитрости и тонкости ее работы; потом она мило поблагодарила меня за то, что я взял на себя труд перенести кроватку, и пожелала мне

спокойной ночи; я осведомился, не помешает ли ей, если я немного побеседую со своим гостем, и она ответила, что мы можем говорить, сколько душе угодно, ей это ничуть не помешает, она-де очень устала и никакие громы и землетрясения ее не разбудят.

— Доброй ночи, Мэри Джи, — сказал я от всего сердца, — und schlafen Sie wohl zu. [*И доброго сна (нем)* .]

Мэри поистине самая деликатная кошечка из всех, кого я знал, а я знал многих...

Я растормошил брата, и в ожидании мага мы коротали время за разговором. Я предупредил Шварца, что вовсе не уверен, придет ли маг: он такой непостоянный и может не явиться, когда его ждут; но Шварц жаждал остаться и попытать счастья, и, как я уже сказал, мы сидели и разговаривали. Он мне многое рассказал про свою жизнь и обычаи эльфов из мира грез, но говорил отрывочно и бессвязно, постоянно перескакивая с одного на другое, как водится у этих эльфов. Шварц мог вдруг оборвать фразу посередине и переключиться на другой заинтересовавший его предмет, ничего не объясняя, не извиняясь, — словом, как бывает во сне. Он пересыпал свою речь непонятными словами и оборотами, заимствованными в тысяче миров, — ведь он бывал повсюду. Иногда Эмиль объяснял мне их значение и где он их перенял, но это случалось довольно редко из-за капризов и причуд эльфовой памяти, порой хорошей, порой — плохой, но всегда изменчивой. Вот, к примеру, слово «переключаться». Шварц не помнил, где его позаимствовал, но полагал, что на какой-то звезде в созвездии Ориона, где провел однажды ночью целое лето с экскурсантами с Сириуса; он познакомился с ними где-то во Вселенной. В этом он был уверен, а вот когда услышал слово «переключаться» — напрочь забыл; может быть, в прошлом, может быть, в будущем — он не мог сказать наверняка, скорей всего не знал и в тот момент, когда пополнил им свой словарь. И не мог знать, ибо прошлое и будущее — человеческие понятия, непостижимые для него; прошлое и будущее неделимы и нераспознаваемы для обитателя страны грез

— Да это и неважно в конце концов.

Как естественно и просто произнес он эти слова! Впрочем, его представления о важности весьма примитивны.

Шварц часто ронял мимоходом общеизвестные с его точки зрения истины, а потом безуспешно пытался вдолбить их мне в голову. Безуспешно, ибо он говорил о мирах, совершенно несхожих с Землей, об условиях, несхожих с земными, где все вокруг жидкое и газообразное, а живые существа не имеют ног; о нашем солнце, где все чувствуют себя хорошо лишь в раскаленном добела состоянии; тамошним жителям бесполезно объяснять, что такое холод и тьма, — все равно не поймут; о невидимых с земли черных планетах, плывущих в вечной тьме, закованных в броню вечного льда; их обитатели безглазы — глаза им ни к чему, можно разбиться в лепешку, толкуя им про тепло и свет; о космическом пространстве — безбрежном воздушном океане, простирающемся бесконечно далеко, не имеющем ни начала, ни конца. Это — мрачная бездна, по которой можно лететь вечно со скоростью мысли, встречая после изнурительно долгого пути радующие душу архипелаги солнц, мерцающие далеко впереди; они все растут и растут, и вдруг взрываются ослепительным светом; миг — прорываешься сквозь него, и они уже позади — мерцающие архипелаги, исчезающие во тьме. Созвездия? Да, созвездия, и часть из них в нашей солнечной системе, но бесконечный полет продолжается и через солнечные системы, неизвестные человеку.

По его словам, в таких полетах встречаешь чрезвычайно интересных эльфов грез — обитателей миллиардов миров, устремляющихся к миллиардам иных миров; они всегда приветливы, рады встрече, полны впечатлений об увиденном, жаждут поделиться ими. Они говорят на миллионах разных языков, порой понимаешь их, порой — нет; язык, знакомый сегодня, забывается завтра, ибо у обитателей мира грез нет ничего постоянного — характера, телосложения, веры, мнений, намерений, симпатий, антипатий и прочего; эльфы грез ценят лишь путешествия, беседы, все новое и необычное, веселое времяпрепровождение. Шварц сказал, что эльфы грез полны доброжелательства к своим собратьям из плоти и крови, всячески

стараятся поделиться с ними яркими впечатлениями, почерпнутыми в путешествиях; но это возможно лишь на крайне примитивном, не стоящем усилий уровне: ведь они взывают к воображению Будничной Сути человека, а это все равно что «опускать радугу в крысиную нору».

Тон у Шварца был необидный. Пожалуй, он и раньше не был обидным, намеренно обидным; тон был терпимый, а вот слова больно ранили: Шварц называл все вещи своими именами. Он повел речь о том, что как-то раз миллион лет тому назад слетал с приятелями на Юпитер и, когда...

— Мне всего семнадцать, — прервал я его, — ты же говорил, что родился вместе со мной?

— Да, — ничуть не смутился Шварц, — я пробыл с тобой всего около двух миллионов лет, согласно вашему измерению времени; мы вообще не измеряем времени. Сколько раз я проводил в путешествиях по вселенной пять, десять или двадцать тысяч лет за одну ночь; я всегда покидаю тебя, как только ты уснешь, и не возвращаюсь, пока не проснешься. Ты спишь все время, пока я в отлучке, но видишь сущий пустяк либо вовсе ничего — жалкие обрывки моих впечатлений, доступные незрячей Смертной душе [*один их постулатов «Христианской науки», религиозной организации протестантской ориентации, возникшей в 70-х годах XIX в США. Основные ее принципы сформулированы Мэри Бекер Эдди (1821 -1910) и состоят в том, что излечение людей от болезней возможно лишь с помощью религиозной веры. Причина всех бед — ошибочное мнение о существовании материи как объективной реальности. Материя иллюзорна, так же как болезни, страдания и смерть. Единственной реальностью признаются разум, мысль, дух. Мысли Мэри Бекер Эдди изложены в ее книгах «Наука и здоровье» (1875), «Единство Великого и нереальность болезни» (1887) и др. Мэри Бекер Эдди была излюбленной сатирической мишенью М Твена, называвшего ее «царицей всех шарлатанов и лицемеров». В 1907 г он опубликовал книгу «Христианская наука», в которую вошли ранее написанные очерки. Марк Твен сыграл большую роль в разоблачении этой религиозной организации.*]; а порой на твою долю и вовсе ничего не достается из приключений целой ночи, равной многим столетиям; твоя Смертная душа не в состоянии это понять.

Затем Шварц перешел к своим «шансам». Вернее, принялся рассуждать о моем здоровье, да так холодно, будто речь шла о собственности, интересовавшей его с коммерческой точки зрения, о которой надлежало радеть, исходя из его интересов. Шварц даже вдавался в подробности — боже правый! — советовал мне соблюдать диету, заниматься физическими упражнениями, помнить о режиме, остерегаться разврата, религии и женитьбы, ведь в семье рождается любовь, а любовь к родным тебе людям многократно усиливается, и это чревато изнурительной заботой и тревожностями; когда любимые страдают или умирают, тревога усугубляется, разбивает сердце и укорачивает век. В общем, если я буду беречь свое здоровье и избегать неразумных поступков, у него есть все основания прожить десять миллионов лет...

Я оборвал Шварца и перевел разговор на другую тему: он мне изрядно надоел, и я всерьез опасался, что вот-вот сорвусь и, забыв о гостеприимстве, начну ругаться последними словами. Я подзадорил Шварца поговорить о делах небесных; он повидал множество царств небесных на других планетах, но отдавал предпочтение нашему, ибо там не соблюдают воскресенья. Там священный день отдохновения — суббота, и это очень приятно: кто устал — отдыхает, остальные предаются невинным забавам. А воскресенья там не признают, сказал Шварц. Воскресенье как священный день отдохновения было введено на земле ради коммерческой выгоды императором Константином, чтобы уравнивать шансы на процветание в этом мире между евреями и христианами. Правительственная статистика того времени показывала, что еврей за пять дней зарабатывает столько, сколько христианин за шесть. Константин понял, что при таких темпах евреи скоро приберут к рукам все богатства и обрекут

христиан на нищету. В этом не было ни правды, ни справедливости, и долгом всякого благочестивого правительства было установить закон, равный для всех, и проявить столько же заботы о тех, кто не горазд в делах, как и о тех, кто горазд, — и даже больше, если потребуется. Тогда Константин сделал священным днем отдохновения воскресенье, и это возымело действие, уравнив шансы христиан и евреев. После введения нового закона еврей пребывал в вынужденной праздности 104 дня в году, а христианин — всего 52, и это позволило ему догнать соперника. Брат сказал, что Константин сейчас совещается в царстве небесном с другими ранними христианами о новом уравнивании шансов, ибо, заглянув на несколько столетий вперед, они заметили, что примерно в двадцатом столетии надо дать евреям еще один священный день отдохновения и спасти хотя бы то, что останется к этому времени от христианской собственности. Сам Шварц недавно побывал в первой четверти двадцатого столетия и считал, что Константин прав.

Потом Шварц, как у него заведено, резко переключился на другую тему: алчно глянув на мою голову, он размышлялся — вот если бы снова оказаться там! Как только я усну, он отправился бы в путешествие и повеселился на славу! Неужели маг никогда не вернется?

— Ах, чего только я не видел! — вспоминал Шварц. — Таких чудес, такого буйства красок, такого великолепия человеческий глаз не воспринимает. Чего только я не слышал! Музыка сфер... Ни один смертный не выдержит и пяти минут такого экстаза! О, если б он пришел! Если бы... — Шварц замер с полуоткрытым ртом, застывшим взглядом, поглощенный какой-то мыслью. — Ты чувствуешь? — спросил он минуту спустя.

Знакомое ощущение — животворное, бодрящее, таинственное нечто, витавшее в воздухе, когда появлялся Сорок четвертый. Но я притворился, будто оно мне неизвестно, и спросил:

— Что это?

— Маг, он приближается. Он не всегда допускает, чтоб от него исходила сила, поэтому мы, двойники, принимали его одно время за обычного колдуна, но когда маг сжег Сорок четвертого, мы все стояли рядом; от него вдруг стала исходить эта сила, и мы сразу догадались, кто он! Мы поняли, что он... мы поняли, что он... Удивительное дело, мой язык отказывается произнести нужное слово!

Да, именно так, Сорок четвертый не позволил Шварцу говорить, а я был близок к тому, чтоб узнать, наконец, тайну. Какое горькое разочарование!

Вошел Сорок четвертый все еще в облачении мага, Шварц бросился перед ним на колени и принялся страстно заклинать мага освободить его от брэнной плоти. Я поддержал его.

— О, могущественный! Ты заключил меня в темницу, только ты можешь вызволить меня, только ты! Все в твоих силах, все, бросающее вызов Природе, для тебя нет ничего невозможного, ибо ты есть...

Снова то же самое — слова не шли у него с языка... Я второй раз был близок к раскрытию тайны, но Сорок четвертый наслал на Шварца немоту; я отдал бы все на свете за то, чтобы выведать секрет. Сами понимаете, мы все так устроены — то, что тебе доступно, вовсе не прельщает, а что недоступно, то и желанно!

Сорок четвертый проявил доброту. Он сказал, что отпустит моего двойника, — Шварц обхватил руками колени Сорок четвертого и целовал, целовал край его плаща, не дожидаясь, пока Сорок четвертый закончит фразу, — да, отпустит, а к свадьбе наделает новых, и, таким образом, семья мастера не будет в обиде. Сорок четвертый повелел Шварцу встать и улетучиться, что Шварц и сделал: вот это было зрелище так зрелище! Сначала его одежды истончились настолько, что сквозь них просвечивало тело, потом они растворились в воздухе, как туман, и Шварц остался нагим (в этот момент в комнату заглянула кошка и тут же выскочила, как ошпаренная); тем временем плоть Шварца таяла на глазах, сквозь нее уже

просвечивал скелет, очень стройный, ладный скелет; затем исчезли и кости и осталась лишь пустая форма, оболочка — само совершенство, зыбкая и эфемерная, переливающаяся всеми цветами радуги; сквозь нее, как сквозь мыльный пузырь, просвечивала мебель; затем — паф! — и она исчезла!

Вошла кошка, помахивая хвостом; подхватив его передней лапой, будто шлейф, она просеменила на середину комнаты и, разведя лапы, словно придерживала юбки, склонилась перед магом в глубоком реверансе, потом грациозно выпрямилась. Это было изумительно, учитывая ограниченность реквизита. Я полагаю, что реверанс — самое милое, что может сделать женщина, а реверанс горничной прелестнее других: у нее больше опыта в этом деле; в отсутствие хозяев она только реверансами и занимается.

Продемонстрировав свое искусство, Мэри улыбнулась, как Чеширский Кот 32 (я услышал это выражение от своего двойника; он почерпнул его из иностранного языка, как ему казалось — в будущем; впрочем, он мог и ошибиться), и спросила с обворожительной наивностью:

— Вы разрешите мне перекусить сейчас, не дожидаясь второго завтрака, сегодня утром в замке начнутся такие события! Я бы отдала целую корзину мышей, чтоб в них участвовать, и, если я...

В этот миг невообразимо крошечный мышонок с глазами-бусинками пробежал по полу. Бейкер Джи взвизгнула, взвилась в воздух и приземлилась на самом высоком стуле в комнате; там она встала на задние лапы, дрожа от страха, подобрав воображаемые юбки. Тем временем из шкафа выплыл ее завтрак на серебряном подносе; Мэри попросила подать его на стул, что и было выполнено. Наскоро перекусив, заморив червячка, Мэри умчалась, чтоб не пропустить волнующего зрелища, и наказала сохранить недоеденный завтрак до ее возвращения.

— А теперь иди к столу, — пригласил Сорок четвертый. — Выпьем венский кофе двухсотлетней будущности, лучший в мире кофе, отведаем гречишных булочек из Миссури урожая 1845 года, французских яиц прошлого столетия, китового жареного мяса с пряностями позднего плиоцена, когда кит был еще мальком и чрезвычайно приятным на вкус!

К этому времени я уже привык к чужеземным яствам — Сорок четвертый выискивал их в неведомых странах и неведомых эрах, разделенных порою миллионами лет, — и мне уже стало безразлично, где и когда они приготовлены; блюда всегда были свежи и отменны на вкус. Сначала я не выносил яиц столетней давности и консервированную манну небесную времен пророка Моисея, но все объяснялось привычкой и предвзятостью воображения; вскоре я преодолел предрассудки и наслаждался новыми блюдами, не задавая лишних вопросов. Раньше я бы ни за что не притронулся к китовому мясу — одна мысль о нем вызывала у меня тошноту, — но с тех пор я сто шестьдесят раз ел китовое мясо и ни разу не поморщился. За завтраком Сорок четвертый помянул в разговоре эльфов грез; оказывается, прежде они выполняли очень важные поручения, когда требовались быстрота доставки и сохранение тайны. В те времена эльфы грез гордились своей работой, они передавали послания слово в слово, а что касается скорости связи, то она намного превосходила телеграфную и приближалась к телефонной. Сорок четвертый сказал, что если бы, к примеру, послание Иосифу было передано не во сне, а через «Уэстерн Юнион», то семь тощих коров сдохли бы еще до того, как он получил телеграмму. По его словам, сновидческое предприятие обанкротилось еще в эпоху Римской империи, но это произошло по вине толкователей, а не эльфов грез.

— Не подлежит сомнению, что правильное толкование так же важно, как и точность формулировки самого послания, — заметил Сорок четвертый. — Допустим, Основательница посылает телеграмму на языке Христианской Скуки. Что делать? А ничего не остается делать, можно лишь строить предположения. На песке, ибо никто в целом мире не способен понять это послание с начала и до конца. В общем, дело табак.

— Дело — что?

— Табак. Это такое выражение. Им еще не пользуются. Оно означает, что дела весьма плохи. Не поймешь начало или конец послания, обязательно исказишь их при толковании и тогда суть послания не дойдет по адресу, утратится, и будет причинен большой вред. Я приведу конкретный пример, и ты поймешь, что я имею в виду. Вот телеграмма Основательницы ее ученикам. Дата — 27 июня через четыреста тринадцать лет с нынешнего дня; она напечатана в бостонской газете, я принес ее сегодня утром

— Что такое бостонская газета?

— Ну это так просто не объяснишь — рисунки, колонки, подвалы и прочее. погоди, я расскажу тебе про газеты в другой раз, сейчас я хочу прочесть телеграмму.

«Слушай, Израиль! Господь, бог наш, господь один есть.

Я повелеваю, чтоб отныне все члены моей церкви прекратили особую молитву за установление мира между воюющими народами — прекратили, твердо веруя в то, что господь не слышит наших молитв, ибо часто суесловим; но он благословит всех жителей земли, и никто не остановит руку его и не скажет ему, что творишь ты. Господь всеобъемлющий благословит всех своей истиной и любовью.

Мэри Бекер Эдди Плезант Вью. Конкорд. Н. Г. Июнь 27, 1905» [*Здесь цитируется подлинное послание верующим Мэри Беккер Эдди, опубликованное в газете «Бостон геральд».*]

— Видишь? До слова «народами» понять телеграмму может каждый. Разразилась чудовищная война; она продолжалась семнадцать месяцев, в ходе ее были уничтожены флоты и армии, и вот Основательница в семнадцати словах сообщает своим ученикам: я полагала, что войну можно остановить молитвой, и потому приказала вам молиться; это была ошибка Смертной души, а я думала, что идея ниспослана мне свыше; отныне повелеваю, чтоб вы прекратили молиться за мир и переключились на вещи более доступные нашему пониманию — стачки и бунты. Остальное, вероятно, означает, означает... Дай-ка я еще раз прочту текст. Смысл, вероятно, в том, что он больше не внемлет нашим молитвам, ибо мы докучаем ему слишком часто. Дальше идет «часто суесловим». Тут туман сгущается в непроницаемую мглу, непостижимые несурезицы застывают ледяными глыбами. Итак, подытоживаем и получаем результат — молитву следует прекратить, это сказано ясно и определенно, а вот почему — остается неясным. А что, если непостижимая, не поддающаяся толкованию вторая часть послания особенно важна? Скорей всего, так оно и есть, потому что о первой части этого не скажешь; итак, что нас ждет? Что ждет нашу планету? Катастрофа? Катастрофа, которую мы не в силах предотвратить; и все потому, что не понимаем смысла слов, чье назначение — описать ее и указать, как ее предотвратить. Теперь ты понимаешь, какую важную роль играет в таких делах толкователь. Но если половина послания написана слогом наивной школьницы, а вторая — на диалекте чокто [*язык индейцев одноименного племени* .], толкователь неизбежно попадет впросак, и делу будет причинен колоссальный ущерб.

— Ты, конечно, прав. А что такое «господь всеобъемлющий»?

— Я — пас.

— Ты — что?

— Пас. Богословское выражение. Оно, вероятно, значит, что Основательница вступила в игру, полагая, что господь объемлет лишь половину и нуждается в помощи, потом, осознав, что он всеобъемлющ и играет на стороне противника, Основательница решила расплатиться наличными и выйти из игры. Я думаю, моя догадка правильна, во всяком случае, она разумна: за семнадцать месяцев Основательница не отыграла ни одной ставки; не удивительно, что в такой ситуации ей вдруг срочно понадобилось повидаться с другом. Я уже говорил тебе, что во времена Римской империи дело вылетело в трубу из-за плохого толкования снов. Вот Светоний [*Светоний Гай Транквилл — римский историк и писатель, автор сочинения «О жизни*

двенадцати цезарей».], к примеру. Он пишет об Атии, матери августейшего Юлия Цезаря: «Перед родами ей приснился сон, что чрево ее протянулось до звезд и заняло все пространство между небом и землей». Как ты растолкуешь этот сон, Август?

— Кто — я? Наверяд ли я смогу его растолковать. Но я бы хотел увидеть это зрелище, наверное, оно было великолепно.

— Да, вероятно. Но разве это тебе ничего не говорит?

— Н-нет, ничего. А что ты предполагаешь — несчастный случай?

— Конечно, нет! Это же не явь, а всего лишь сон. Он был послан Атии как весть, что ей предстоит произвести на свет нечто выдающееся. И что же, по-твоему, она произвела?

— Я... Нет, не знаю.

— А ты угадай!

— Ну, может быть... может быть, дозорную башню?

— Фу, ты не способен толковать сны. Сон Атии — яркий пример того, как трудно приходилось в те дни толкователям снов. Сновидческие послания сделались уклончивыми и зыбкими, как телеграмма Основательницы, и вскоре произошло то, что и должно было произойти, — толкователи разуверились в своем ремесле, работали спустя рукава, скорей гадали, чем толковали, и в конце концов совсем обанкротились. Рим отказался от сновидческих посланий и перешел на пророчества по внутренностям.

— Ну, раз они заглядывали в нутро, то, наверное, больше не ошибались, верно я говорю, Сорок четвертый?

— Я имею в виду внутренности птиц, точнее — цыплят.

— Я бы на это деньги не поставил! Что может знать о будущем цыпленок?

— Эх, ты не постиг идею, Август. Дело не в том, что знает цыпленок — он ничего не знает, — но по состоянию его внутренностей в момент забоя авгуры предугадывали судьбы императоров — вот какой способ общения с толкователями избрали римские боги, когда сновидческое дело заглохло, а «Уэстерн юнион» еще не появилась. Идея была хороша тем, что внутренности цыпленка часто сообщали толкователям больше, чем римский бог в пьяном виде, а он вечно был навеселе.

— Сорок четвертый, а ты не боишься так говорить о боге?

— Ничуть. А почему я должен бояться?

— Потому что твои высказывания непочтительны.

— Никакой непочтительности в них нет.

— Нет? Тогда что же ты называешь непочтительностью?

— Непочтительность — это неуважение другого человека к твоему богу, но не существует слова, означающего твое неуважение к его богу.

Я задумался над словами Сорок четвертого и понял, что он прав; такой взгляд на вещи был нов для меня.

— Теперь, Август, вернемся к сну Атии. Все предсказатели напрасно ломали над ним голову. Ни один не смог его растолковать. А смысл его был в том, что...

Прибежала взволнованная кошка.

— Внизу творится черт знает что, сама от Катценъямера слышала! — выпалила она и тут же умчалась.

Я вскочил, но Сорок четвертый остановил меня:

— Сиди. Сохраняй хладнокровие. Никакой спешки нет. События разворачиваются, и мы еще повеселимся. Я отключил свой провидческий дар и готов к неожиданностям.

— Провидческий дар?

— Да, там, откуда я родом, мы...

— Откуда ты ро...

Я не смог вымолвить последнее слово. У меня свело челюсть, а Сорок четвертый, бросив на меня красноречивый взгляд, продолжал как ни в чем не бывало:

— Там, откуда я родом, мы все наделены даром, от которого порой устаем. Мы предвидим все, что должно произойти, и, когда событие происходит, для нас оно уже не новость, понимаешь? Мы не способны удивляться. Там мы не можем отключить дар провидения, а здесь — можем. Это одна из главных причин моих частых визитов на Землю. Я так люблю сюрпризы! Я еще юнец, и это естественно. Я люблю всякие действия — красочные зрелища, захватывающие драмы, люблю удивлять людей, пускать пыль в глаза, люблю яркие наряды, веселые проделки ничуть не меньше любого мальчишки. Каждый раз, когда я здесь и мне удастся заварить кашу, а впереди — возможность позабавиться, я отключаю свой провидческий дар и предаюсь веселью! Я отключил его и на этот раз два часа тому назад и знаю о том, что нас ждет впереди, не больше твоего. Вот и все, а теперь — пошли. Я тебе объяснил суть дела. Раньше у меня были планы, а теперь я от них отказался. Пусть все идет своим чередом, а мы начнем действовать в зависимости от обстоятельств. Будет чему удивляться! Возможно, такие неожиданности покажутся тебе пустяками — ты к ним привык, — а для меня даже самая маленькая неожиданность — радость.

В комнату влетела кошка вне себя от возбуждения.

— Как я рада, что успела вовремя, — сказала она. — Закройте дверь, повсюду люди, не давайте им сюда заглядывать. Любезный маг, измени свою внешность, тебе еще никогда не угрожала большая опасность. Тебя заметили, все знают, что ты здесь, все ищут тебя; ты совершил очень опрометчивый поступок, показавшись им на глаза. Умоляю, измени внешность и следуй за мной, я покажу тебе такое место в замке, где тебя никто не отыщет. О, прошу, умоляю — торопись! Слышишь голоса? Они охотятся за тобой, умоляю — поторопись!

Вы и не представляете, как обрадовался Сорок четвертый!

— Ну и дела, слышал? А я и не знал, что случится, так же как и ты! Представляю, что еще будет!

— Пожалуйста, не забудь за разговорами изменить свое обличье! Не знаешь, что тут произойдет через минуту. Они ищут меня, тебя, двойника, и Августа Фельднера; они уже давно нас ищут и решили, что всех троих убили

— Ага! Теперь я знаю, что надо делать! — вскричал Сорок четвертый — Ну и повеселимся же мы! Какие еще новости?

— Катрина жаждет разделаться с тобой, маг, потому что ты сжег Сорок четвертого, ее ненаглядное сокровище: она прихватила огромный кухонный нож в три раза длиннее моего хвоста и спряталась за мраморной колонной в большом зале; посмотришь, как она кровожадно точит его о колонну, даже искры летят — страх берет! Она все выглядывает из-за колонны, сверкает глазищами — высматривает тебя! Прощу, измени обличье и быстро следуй за мной! Господи помилуй, тут еще и заговор, и...

— Великолепно, Август, просто великолепно! Ведь я знал обо всем не больше тебя! О каком заговоре ты толкуешь, киска?

— Это все бунтовщики-печатники, они собираются убить двойников. Я сидела на коленях у Фишера и слышала, как они шепотом обсуждали свой план; все продумали — и пароли, и знаки и прочее, чтоб отличить двойников от настоящих печатников; мне бы и самой хотелось научиться их различать, да их здесь слишком много; ну, маскируйся же поскорей и уйдем отсюда, я вот-вот расплачусь!

— Черт с ней, с маскировкой, пойду, как есть, а если они попытаются что-нибудь со мной сделать, я их отругаю.

Сорок четвертый открыл дверь и вышел; Мэри побежала за ним, обливаясь слезами, приговаривая:

— О, они и внимания не обратят на твои сердитые слова. Почему ты так неосторожен? Ты загубишь себя, а когда тебя не станет, — сам знаешь, — они будут бранить и бить меня!

Я сделался невидимкой и последовал за ними.

Утро выдалось хмурое, холодное; мела поземка, гулкий ветер ревел в дымоходах, грохотал в зубчатых стенах, в башнях замка. Подходящая погода для расправы над магом, заметил Сорок четвертый, ничто ее не улучшит, кроме солнечного затмения. Он тут же ухватился за эту идею и сказал, что устроит затмение— не настоящее, а искусственное, но никто, кроме Саймона Ньюкома [*известный американский астроном*] не отличит его от настоящего, и Сорок четвертый тут же устроил солнечное затмение. Зияющие каменные переходы приобрели мрачный кладбищенский вид, и, разумеется, кромешная тьма придала жути и зловещей скрипучести отдаленным шагам, приглушив их звучность и гулкое эхо; ведь когда ступаешь в темноте по каменному полу, невольно шаркаешь ногами, и в древних разрушающихся замках, где столетиями держали в заточении, мучили и убивали людей, этот таинственный монотонный шум вселяет в душу безотчетный холодный страх. К тому же сегодня особая ночь — ночь призраков; Сорок четвертый помнил об этом и сетовал, что солнечные затмения очень трудно устраивать после захода солнца. Провалиться мне на этом месте, заявил он, если я не продлю затмение на всю ночь, оно поможет мне получить множество призрачных эффектов. В ночь призраков собираются все призраки замка, она бывает раз в десять лет, торжественная и праздничная; но самые пышные торжества устраиваются в столетнюю ночь — а сегодняшняя именно столетняя. В замок приглашены избранные призраки из многих других замков на грандиозный бал и полуночный банкет; это интересное и впечатляющее зрелище, и Сорок четвертый, по его словам, участвовал в нем неоднократно; любопытно и трогательно повстречаться в такую ночь со старыми друзьями-призраками, которых не видел сто — двести лет, и вновь услышать набившие оскомину истории, какие слышал уже несколько раз; они и не могут рассказать ничего нового, бедняги, такое уж у них положение. Сорок четвертый заявил, что собирается отпраздновать нынешнюю столетнюю ночь с таким размахом, что затмит все торжества, проводившиеся в замке за двенадцать столетий. Он приглашает самых знаменитых призраков всех народов и времен, прошедших и будущих, и каждый, если пожелает, может привести с собой друга — любого, лишь бы из царства мертвых; мне тоже разрешается пригласить кого-нибудь. Сорок четвертый предполагал, что соберется тысяча, а то и две, призраков, и это будет самая блестящая столетняя ночь из столетних ночей, тысячу лет ей не будет равных.

Мы не встретили ни души, пока шли по мрачному коридору от моей комнаты к парадной лестнице и на полпути вниз, потом сразу увидели большое скопление людей, наших и деревенских; они были вооружены и стояли двумя рядами, образовав двойной заслон через всю залу; маг, пожелай он выйти из замка, не мог их миновать; посреди живого коридора возвышалась грозная воинственная Катрина с ножом в руке. Я невольно оглянулся; и позади стеной стояли люди, смутно видные во мраке, поджидавшие мага в укрытии и теперь молча сомкнувшиеся за его спиной Мэри Джи, очевидно, решила, что с нее хватит, и исчезла.

Когда люди, стоявшие внизу, увидели, что их план удался и намеченная жертва угодила в ловушку, они испустили торжествующий вопль, не очень искренний, как мне показалось; я уловил в нем нотку сомнения: пожалуй, эти люди не так уж радовались, что поймали птичку в сети, — они скорее изображали радость, а сами тем временем усердно крестились, что, по моему, выдавало сомнение.

Сорок четвертый невозмутимо спускался вниз. Когда он стоял уже на последней ступеньке, в зале началось смятение, отовсюду послышались возгласы:

— Пришел отец Адольф, пропустите его! Священник, тяжело дыша, прорвался сквозь один

из рядов и преградил путь Катрине, рванувшейся к Сорок четвертому, принявшему обличье мага.

— На помощь, все сюда, остановите ее! Ослы, если вы позволите ей убить злодея, он избежит костра инквизиции!

Заговорщики бросились к Катрине, и с минуту она боролась в самой гуще колымавшейся вокруг нее толпы; я видел лишь голову Катрины и ее вытянутую руку, сжимающую нож. Сильный голос Катрины страстно изливал ее чувства, легко перекрывая и общий шум, и приказания священника:

— Пустите меня, я убью его, он сжег мое дитя, моего дорогого мальчика!

— Не подпускайте ее, не подпускайте!

— Он не достанется церкви! Его кровь моя по праву, прочь с дороги! Я убью его!

— Назад! Женщина, назад! Я приказываю! Оттащите ее назад, мужчины вы или не мужчины? Где ваша сила? Что вы, малые дети?

— И сотня таких, как вы, меня не остановит, хоть я и женщина!

Катрина действительно высвободилась одним мощным рывком и, размахивая ножом, подавшись всем телом вперед, как бегун, ринулась по живому коридору в сгущавшейся тьме

Вдруг перед ней разлился ярчайший свет! Катрина подняла голову, и он озарил ее смуглое лицо, совершенно преобразив его своим волшебным сиянием, как, впрочем, и все вокруг — зал с мраморными колоннами, испуганных людей. Катрина выронила нож и повалилась на колени, молитвенно сложив руки; остальные последовали ее примеру и замерли, коленопреклоненные, с благоговейно сложенными или протянутыми вперед руками, осиянные неземным светом. На том месте, где только что был маг, стоял Сорок четвертый во всем блеске своей небесной красоты и молодости, лучезарный, как солнце; от него исходил ярчайший свет, он был, словно тканью, обвит немеркнущим лазоревым пламенем; Катрина подползла к нему на коленях и, склонив старую голову, поцеловала его ноги; Сорок четвертый нагнулся, ласково потрепал ее по плечу, коснулся губами седых волос и исчез! На замок вновь опустилась тьма, и две-три минуты ослепленные люди не видели даже ближайшего соседа. Потом глаза стали различать темные фигуры; одни все еще стояли на коленях, другие лежали на полу без чувств, третьи бродили, пошатываясь, прижав руки к глазам, будто свет причинил им боль. Катрина ходила взад и вперед нетвердой походкой, а нож ее валялся посередине залы.

Идея с затмением была превосходна, она очень помогла Сорок четвертому; впечатление в любом случае было бы сильным и ярким, но, благодаря затмению, оно стало величественным и ошеломляющим. На мой взгляд, Сорок четвертый показал себя знатоком своего дела, сам он заявил, что заткнул за пояс Барнума и Бейли [*Популярные в США устроители публичных зрелищ, стали нарицательным выражением.*], но, пожалуй, хватил через край: провинция, как-никак, для меня это была китайская грамота, впрочем, и на китайском его слова вряд ли имели смысл; он их приплел к случаю, потому что они звучали по-ученому, а для него звучание было, как правило, важнее смысла. Среди всех любителей красного словца он был самый ярый.

Я рассудил, что обитатели замка опомнятся через несколько часов — не раньше: ведь надо собраться с мыслями, понять, на каком ты свете, — немудрено было и рассудком помешаться от увиденного — ив ближайшее время никаких событий не предвидится. Мне надо выждать, пока они снова возьмутся за дело. Я вернулся к себе в комнату, снова стал видимым и удобно расположился перед камином с книгой в руке, предусмотрительно приоткрыв дверь для кошки; Мэри непременно прибежит с новостями, если ей удастся их разузнать, и я от всей души желал ей удачи; но через некоторое время я уснул. Спал как убитый до десяти часов вечера. Открыв глаза, я увидел, что кошка уже заканчивает ужин, а мой стоит на столе еще горячий; я очень обрадовался: с утра у меня маковой росинки во рту не было. Мэри уселась на стул по соседству,

умылась и, пока я ел, сообщила все новости. Она своими глазами наблюдала замечательную сцену преобразования и, потрясенная и заинтригованная увиденным, не дожидаясь конца, залезла на крышу, села на трубу и дрогла там с полчаса; потом кто-то любезно развел внизу огонь, и сразу стало уютно и тепло. Но когда стало чересчур уютно и тепло, Мэри выбралась на крышу и спустилась по наружной лестнице вниз; побродив по замку, она поймала крысу — это, оказывается, пустяк, она и меня научит, если пожелаю; крысу Мэри не съела — то ли она была несвежая, то ли просто попала не вовремя — во всяком случае, Мэри вспомнила, что проголодалась, и пришла домой.

— Если ты любишь сюрпризы, я тебе преподнесу сюрприз, — молвила она. — Маг не умер. Я вскинул руки, изображая удивление, как бывалый плут.

— Мэри Флоренс Фортескью! — вскричал я. — Что ты имеешь в виду?

— Только то, что сказала! — радостно воскликнула она. — Я так и заявила магу, что ты мне ни за что не поверишь. Отсохни у меня лапы, не сойти мне с этого места, коли вру; я его видела, видела — слышишь? Он жив и здоров, как прежде.

— Брось, не морочь мне голову!

Мэри была на седьмом небе от счастья: какой успех!

— Прекрасно! Восхитительно! — ликовала она. — Я это знала, я сказала магу, что ты не поверишь, так оно и вышло! — Мэри в восторге захлопала лапами, и напрасно: с таким же успехом можно было хлопать грибными шляпками.

— Двойник, а если я докажу, что он жив, — поверишь? — спросила она.

— И не подумаю! — отозвался я. — Как, бывало, говорил маг, мне очки не вотрешь! Ты несешь чепуху, Мэри! Человек умер, и все знают, что он умер, отошел, так сказать, в мир иной на глазах у всех, и ты никак не можешь доказать, что он жив. Тебе ли этого не знать?

Мэри улыбалась во весь рот, она еле сдерживалась, ее распирало от сознания грядущей победы надо мной. Соскользнув на пол, кошка, играючи, подтолкнула лапой какую-то бумагу к моей ноге, я поднял ее, а Мэри снова прыгнула на стул и предложила:

— Глянь, маг сказал, ты мигом разберешься, что это такое. Ну что, разобрался?

— Это — вещь, которую он называет газетой. Бостонской газетой.

— Правильно, он так и сказал. Это, говорит, английский язык будущего, а ты знаешь английский и сможешь ее прочесть. Ты и на самом деле можешь?

— Сам по себе факт правильный, но маг ничего не говорил, потому что он мертв.

— погоди, не торопись, маг велел тебе обратить внимание на дату.

— Ладно, он мне, конечно, ничего не велел, потому что мертв, а мертвые, естественно, не отдают приказов, но все равно, вот она — 28 июня 1905 года.

— Правильно, он так и сказал. И еще велел спросить про послание Основательницы своим ученикам, оно печаталось в другой бостонской газете. О чем там написано?

— Ну, маг рассказывал, что сейчас идет большая война, и Основательнице надоело, что ее ученики все молятся и молятся за мир, а она за семнадцать месяцев не выиграла ни одной ставки; вот она и приказала им прекратить моление и таким образом вывела свою батарею из зоны боевых действий. А еще он добавил, что никто не понимает остальную часть послания и это непонимание может привести к большой беде.

— Ага! Вот так-то! И привело! Маг говорит, что в ту самую минуту, как она своей властью прекратила моление, сошлись два флота, и нецивилизованный полностью уничтожил цивилизованный, а беды не случилось бы, если бы моление продолжалось [*Имеется в виду битва при Цусиме 14—15 (27—28) мая 1905 г. в русско-японской войне*]. Стало быть, ты не знал об этом?

— Нет, я пока не знаю.

— Ну, скоро узнаешь Послание появилось 27 июня, верно?

— Да.

— Так вот, беда случилась в тот же день, как только моление прекратилось, сообщение о ней появилось в газете назавтра, и эту газету от 28 июня ты держишь в руке [*М.Твен намеренно искажает правду (битва при Цусиме произошла на месяц раньше), чтобы высмеять провидческий дар Мэри Беккер Эдди.*].

Я посмотрел на кричащие заголовки.

— Бог ты мой, — воскликнул я. — Все совпадает! Бейкер Джи, да понимаешь ли ты, что это — самое потрясающее происшествие! Газета доказывает, что маг жив, — никто, кроме него, не мог принести ее Он жив, он снова с нами, после ужасной казни, которую мы все видели! Да, он жив, Мэри, жив, я не нахожу слов, чтоб выразить свою благодарность!

— О, это великолепно! Это восхитительно! — закричала она в экстазе. — Я знала, что докажу свою правоту! Я была уверена в этом! Я-то думала, магу пришел конец, когда он вспыхнул и исчез неведомо куда; о, как я испугалась и опечалилась, — а он, он просто чудо! Двойник, а как ты считаешь, нет ли здесь другого колдуна, который вздумал бы тягаться с ним? Есть или нет?

— Нет, Мэри, можешь смело держать пари на собственные уши и хвост. Как маг говорил, и думать забудь об этом! По-моему, наш маг, будь он левша и косоглазый, дал бы всей колдовской шатии сто очков вперед.

— Но ты не о нем говоришь, Двойник.

— О ком же?

— Маг не косой и не левша.

— А кто утверждает, что он косой и левша, дурочка ты этакая?

— Как кто? Ты.

— Ничего подобного я не говорил. Я сказал: будь он. Это вовсе не значит, что так оно и есть, это предположение, литературный оборот, риторическая фигура речи, метафора, ее назначение — усилить...

— И все-таки маг не косой и не левша, я бы заметила...

— О, замолчи! Разве я не объяснил тебе, что это всего лишь метафора, и я не собирался...

— Мне все равно, но ты никогда не убедишь меня, что он косой и левша, потому что...

— Бейкер Джи, если ты еще раз откроешь рот, я в тебя сапогом запущу; ты бросаешь слова наобум и невпопад, речь твоя — бессвязная тарабарщина, как у нашей плачевной Основательницы.

Но Мэри уж притаилась под кроватью, размышляя, по-видимому, если была наделена такой способностью.

В комнату быстро вошел Сорок четвертый, все еще в обличье мага Балтасара Хофмана, и плюхнулся на стул. Кошка тут же доверчиво прыгнула к нему на колени, потянулась, замурлыкала.

— Двойник не поверил, что ты жив, — сообщила она, — а когда я ему это доказала, пытался запустить в меня сапогом, думал запугать, и напрасно; верно я говорю, Двойник?

— Что верно?

— То, что говорю.

— Я не понял, что ты сказала. Это язык Христианской Скуки, не поддающийся толкованию, но я заранее со всем согласен, только помолчи. Помолчи, и пусть мастер скажет, о чем он думает.

— Я вот о чем думаю, Август. Многие знаменитости не могут прийти. Флоре Макфлимси [Героиня популярного тогда стихотворения Уильяма Аллена Батлера «Нечего надеть».] нечего надеть, Еве — то же самое, Адам раньше получил другое приглашение, и так далее и тому подобное. Нерон и многие другие недовольны, что их не известили о бале заблаговременно, и просят время на сборы. Ничего не поделаешь, придется их ублажать.

Но как это сделать? Бал начинается через час. Послушай!

— Бо-мм-мм, бо-омм, б-ом.м!

Большой колокол замка мерно отбивал время. Пробили американские часы на стене в моей комнате, им вторили издали башенные часы в деревне; звуки их, слабые, едва слышные, относил в сторону и приглушал порывистый ветер. Мы сидели молча и считали до последнего удара.

— Сосчитал? — спросил я.

— Да, сосчитал. Одиннадцать. Ну что ж, есть два выхода из положения. Первый — остановить время, что делалось раньше и не раз, второй — повернуть время вспять на день или два — это сравнительно ново и к тому же дает лучшие результаты.

*Назад, назад стреми, о Время, свой полет,
Пусть детство хоть на день судьба вернет.*

[Цитата из поэмы Элизабет Аллен]

Это стихотворение «Прекрасный снег», оно еще не написано. Я — за то, чтоб повернуть время назад, именно это мы и сделаем. Заставим стрелки часов двигаться в обратном направлении.

— А они повернутся?

— Разумеется. Это привлечет к себе всеобщее внимание, можешь не беспокоиться. Но самый потрясающий эффект произведет солнце.

— Каким образом?

— Часов через шесть солнце взойдет на западе, и это прикует к себе внимание всего мира.

— Представляю, как это будет здорово!

— О, положишь на меня. А сколько людей поднимется спозаранку! Человечество не припомнит другого такого случая. По-моему, это будет рекорд.

— Пожалуй, ты прав. Я обязательно встану, чтоб все увидеть своими глазами, или вообще не буду ложиться.

— А знаешь, еще лучше, если солнце взойдет не на западе, а на юго-западе. Это, пожалуй, будет эффектнее и в диковинку людям: никто еще не устраивал ничего подобного.

— Мастер, это будет великолепно! Это будет величайшее чудо, чудо из чудес. О нем будут говорить и писать, куда существует род человеческий. И спорить будет не о чем: все живущие на земле увидят чудо воочию, и некому будет его опровергать.

— Истинно так. Оно станет единственным достоверным событием в человеческой истории. Все другие события, большие и малые, зависели от свидетельства меньшинства, порою очень незначительного, но на этот раз все будет иначе, вот так-то. Чудо на сей раз будет запатентовано, и пусть не ждут повторения на «бис».

— Сколько же продлится обратный отсчет времени, Валтасар?

— Два-три дня, а может быть, и неделю; словом, достаточно долго, чтобы Роберт Брус, Генрих I и прочие, чьи сердца и другие части тела рассеяны повсюду, могли взять корзинку и собрать все воедино; так что дадим и солнцу, и часам обратный ход, а потом ускорим их бег, чтобы наверстать время к нынешней полночи, когда призраки начнут собираться на бал.

— Твоя идея нравится мне все больше и больше. Свершится самое изумительное чудо из всех и...

— Да! — подхватил он в порыве восторженного красноречия. — И оно придаст совершенства репутации, которую я создаю Валтасару Хофману, и прославит его как величайшего мага на земле, и возведет на костер, в чем я нисколько не сомневаюсь. Ты знаешь, сколько труда я вложил в прославление мага: ничто так не занимало меня в течение столетий, как его репутация; я не жалел для нее ни сил, ни времени, я гордился ею и испытывал такое удовлетворение, какого почти никогда не испытывал, занимаясь любимым делом. Теперь труд мой завершится столь блистательным образом, а потом я сожгу мага на костре, расплью его либо устрою что-нибудь другое, не менее красочное, я ничуть не пожалею о затраченных усилиях, ничуть, даю тебе слово.

Бом— м-м, бо-ом-м-м, бо-ом-м-м!

— Ну вот и началось! Снова бьет одиннадцать.

— Неужели?

— Посчитай сам, убедишься.

Я разбудил кошку, она сладко потянулась, удлинившись до полутора ярдов, и спросила, не повернуло ли время назад, — значит, она слышала первую часть разговора. И, конечно, все поняла, потому что мы говорили по-немецки. Узнав, что время поворачивает вспять, она устроилась вздремнуть и сказала, что в десять часов снова выйдет на прогулку и поймает ту же самую крысу.

Я считал удары — вслух:

— Восемь... девять... десять... одиннадцать!

— Назад, назад стреми, о Время, свой полет! — крикнул Сорок четвертый. — Смотри на стрелки часов, Август, слушай!

В то же мгновение я снова начал считать удары:

— Одиннадцать... десять... девять... восемь... семь... шесть... пять... четыре... два... один!

Кошка тут же проснулась и повторила свои слова о крысе, которую она поймает снова, — повторила их в обратном порядке.

— Слушай, Август, часов стрелки на смотри, — сказал в обратном порядке Сорок четвертый.

— Илежуен? — отозвался я.

И Сорок четвертый заметил (его слова заглушал бой больших башенных часов замка):

— Одиннадцать бьет снова, началось и вот ну! Слово даю (голос его звенел, креп, нарастал; исполненный высоких чувств, он звучал проникновенно и выразительно) ничуть, усилиях затраченных о пожалею не ничуть я, красочное менее не другое, что-нибудь устрою либо его расплывлю костре, на мага сожгу я потом а, образом блистательным столь завершится мой труд теперь, делом любимым занимаясь, испытывал не никогда почти какого, удовлетворение такое испытывал и ею (здесь у него чуть не сорвался голос от полноты чувств) гордился я, времени ни, сил ни нее для жалел не я, репутация его как, столетий течение в меня занимало не так ничто, мага прославление в вложил я труда сколько, знаешь ты. (Тут окрыленная одухотворенность его слов достигла запредельной высоты, и глубоким органом голосом Сорок четвертый изрек возвышенные слова.) Сомневаюсь не несколько я чем в, костер на возведет и земле на мага величайшего как его прославит, Хофману Валтасару создаю я которую, репутации совершенство придаст оно и. Да!

Что— то завертелось, громко зажужжало у меня в голове, я встал, покачнулся и рухнул бы, потеряв сознание, на пол, но Сорок четвертый подхватил меня. Его прикосновение вернуло меня к жизни.

— Я вижу, спектакль тебе не по силам, — заявил он, — ты его не вынесешь и сойдешь с ума. Посему я освобождаю тебя от участия в этом великом событии. Ты будешь просто смотреть и наслаждаться зрелищем, оставаясь в стороне, и при обратном течении времени, и при возвратном, пока оно снова не вернется к одиннадцати и не возобновит свой нормальный ход. Приходи и уходи, когда вздумается, развлекайся, как душе угодно!

Благословенные слова! Я был бесконечно благодарен Сорок четвертому.

Последовала довольно долгая пауза — мой невоспроизведенный разговор с Сорок четвертым по поводу обратного течения времени и солнца. Затем еще одна — мой спор с кошкой о том, жив маг или нет.

Я отнюдь не скучал в этих беззвучных промежутках времени — напротив, мой взор был прикован к американским часам на стене, я наблюдал, как стрелки часов ползут в обратную сторону по циферблату, — сверхъестественное зрелище!

Потом я заснул, а когда открыл глаза, время прошло вспять семь часов и был полдень. Я воспользовался своей привилегией приходить и уходить, когда мне вздумается, сделался невидимым и отправился смотреть замечательный спектакль преобразования, воспроизводимый с конца до начала.

Он был столь же впечатляющим и великолепным. Во тьме одни лежали распростертые на полу, другие стояли, коленапреклоненные, третьи бродили, пошатываясь, прижав руки к глазам. Катрина нетвердой походкой пятилась к лестнице все дальше и дальше, потом упала на колени и склонила голову; в этот миг лазоревый свет разлился во тьме и появился Сорок четвертый, объятый немеркнущим пламенем, лучезарный, как солнце. Он наклонился и поцеловал старую Катрину в голову — и так далее и тому подобное, сцена повторилась во всех подробностях от конца до самого начала, когда маг, я и кошка, пятясь, поднялись по лестнице и во тьме начинающегося затмения солнца вернулись в комнату.

По мере того как время двигалось назад, я, в зависимости от настроения, кое-что выпускал, кое-что смотрел заново. Так я еще раз увидел, как из пустоты возник мой двойник в виде совершенной оболочки тела, зыбкой, как мыльный пузырь, переливающейся всеми цветами радуги; потом составился и укрепился скелет, облекся в плоть, одежды. Я выкинул беседы с кошкой и разговор с мастером; когда же стрелка проделала путь в двадцать три часа и я должен был появиться пьяный в спальне Маргет, я дал зарок впредь воздерживаться от спиртного и избавил себя от этого зрелища.

Потом, желая позабавиться и понаблюдать эффект обратного хода времени, мы с Сорок

четвертым отправились в Китай; там стоял полдень. Солнце уже готовилось повернуть по новому пути на северо-восток, и миллионы потрясенных людей глазели на него с глупым видом, а миллионы других лежали на земле, измученные царящей вокруг неразберихой и страхом, погруженные в блаженное забытие. Мы слонялись вслед за солнцем по всему миру, останавливались во всех больших городах, попадавшихся нам на пути, наблюдали и восхищались последствиями обратного хода времени. Повсюду оторопелые люди повторяли задом наперед старые разговоры, не понимали друг друга, и какой у них при этом был усталый и несчастный вид! Собирались толпы людей, с ужасом глядели на башенные часы; в каждом городе происходили заново похороны ранее погребенных; похоронные катафалки и процессии с мрачным видом шли обратно. Там, где происходили войны, повторялись вчерашние битвы с конца до начала; ранее убитых убивали вновь, раненые получали те же самые ранения и роптали. Кровь холодела в жилах при виде смертельных схваток рыцарей в стальных латах на поле боя при обратном ходе времени; в океанах корабли с наполненными ветром парусами заново относило на места, пройденные накануне; одни матросы в страхе обращались к богу, другие в безмолвной муке смотрели на обезумевшее солнце, третьи ругались и богохульствовали на чем свет стоит. В Руане мы наблюдали, как Генрих I собирал воедино на прежнем поле боя свой разбитый череп и другие части тела.

Сорок четвертый, вне всякого сомнения, был самым ветреным существом на свете. Ничто не занимало его долгое время. Он придумывал и тщательнейшим образом разрабатывал планы, вкладывал в них всю душу, а потом вдруг бросал их на полпути к завершению и брался за что-нибудь новое. То же самое произошло и с балом привидений. Он созвал несчастных покойников со всего света, из всех времен, а когда представление было готово, Сорок четвертый вдруг пожелал перенестись во времена пророка Моисея и поглядеть, как египтяне барахтаются в водах Чермного моря; он и меня взял с собой 44. Сорок четвертый уже наблюдал это событие дважды и считал его одним из самых значительных и волнующих. Я едва уговорил его повременить с этим путешествием

Процессия показалась мне очень интересным, впечатляющим зрелищем. Сначала землю окутала зловещая тьма. Все видимое постепенно растворялось в ней, утрачивая очертания, а потом и вовсе исчезло. Воцарилась крошечная непроглядная тьма, а с ней — тишина, такая безмолвная, что казалось, весь мир затаил дыхание. Минуты тянулись, тянулись, глубокое безмолвие стало угрожающим; я замер и едва переводил дух. И вдруг нас накрыла холодная воздушная волна — сырая, пронизывающая, пахнущая могилой, вызывающая дрожь. Через некоторое время я уловил легкий щелкающий звук, долетавший издалека. Он слышался все явственней, все громче и громче, он рос, множился, и вот уже повсюду раздавались сухие, резкие, щелкающие звуки; они сыпались на нас и катились дальше. В призрачном свете блеклых предутренних сумерек мы различили смутные паукообразные контуры тысяч скелетов, идущих колонной! У меня волосы встали дыбом. Вы не представляете, какое это было жуткое, устрашающее зрелище.

Вскоре просветлело, как перед рассветом, и мы отчетливо увидели процессию. Для большего эффекта Сорок четвертый раздвинул стены зала. Теперь это был коридор, величественный и необозримый, протянувшийся на много миль. Процессия текла мимо нас, скорбно гремя костями, мало-помалу расплывалась, таяла вдалеке и наконец пропадала из виду.

Сорок четвертый не рассказывал мне, как закончили свое земное существование бедные скелеты, проходившие колонной, но заметил, что многие были в свое время известными людьми и вошли в историю. Я припомнил некоторые имена, но большинство из них было мне незнакомо. И это естественно: они принадлежали к народам, исчезнувшим с лица земли десять, двадцать, пятьдесят, сто, триста и даже шестьсот тысяч лет тому назад; я, разумеется, никогда о них не слышал.

По колдовской воле Сорок четвертого на каждом скелете была табличка с указанием имени, даты рождения и смерти и другие краткие сведения. Прекрасная идея, избавлявшая нас от необходимости задавать вопросы. Перед нами прошли Фараон, Давид, Голиаф и еще несколько библейских персонажей, Адам и Ева, несколько цезарей, Клеопатра, Карл Великий, рыцарь Дагобер и короли, короли, короли — без счета; большинство из них правило в незапамятные тысячелетия до Адама. Некоторые прихватили с собой короны, а куски полуистлевшего бархата болтались у них меж костей — жалкое зрелище!

Попадались среди скелетов и мои знакомые — я присутствовал на их похоронах всего три-четыре года тому назад, — мужчины и женщины, юноши и девушки; они уныло протягивали мне для рукопожатия свои убогие костяшки. Были и такие, что волокли за собой на веревке истлевшие остатки гробов, выказывая прискорбную озабоченность, как бы чего не случилось с их ничтожной собственностью.

Я и не представлял ранее, что печаль может быть нескончаемо долгой и все же трогать

сердце, будто несчастье случилось вчера и рана еще свежа. Я увидел стройный скелет молодой женщины; она шла, опустив голову, приложив костлявые руки к глазам, — очевидно, плакала. Это была молодая мать, у которой пропал ребенок, да так и не нашелся; счастье ее было разбито, она изошла слезами и умерла. У меня защемило сердце и повлажнели глаза от неутешного горя бедняжки Я глянул на табличку — несчастье произошло пятьсот тысяч лет тому назад! Мне показалось странным, что оно вызывает у меня сострадание, но, вероятно, такое горе не проходит со временем и боль утраты неизбежна.

Появился король Артур со своими рыцарями. Мне было интересно увидеть их воочию, потому что мы как раз перепечатывали книгу про его время, изданную Кэкстоном [*английский первопечатник*]. Они ехали верхом на остовах, некогда бывших лошадьми, и держались величаво в своих старинных доспехах, хоть те проржавели, продырявились местами, и сквозь дыры просвечивали кости. Они говорили о чем-то своем, эти скелеты, — сквозь щели в забралах шлемов было видно, как челюсти у них ходят вверх и вниз. Благодаря колдовству Сорок четвертого я понимал их речь. Рыцари обсуждали последнюю битву короля Артура с таким азартом, будто она произошла вчера; по-видимому, для мертвеца тысячелетие в могиле все равно что одна ночь — сущий пустяк.

То же самое я наблюдал, когда мимо проходил Ной с сыновьями и невестками. Они, очевидно, позабыли, что когда-то вышли из ковчега, и недоумевали, почему теперь ступают по земле. Говорили они только о погоде, похоже, все остальное их ничуть не занимало.

Скелетов предшественников Адама и Евы было в мириады раз больше, чем его потомков. Они ехали верхом на скелетах невообразимых чудищ колоссальных размеров. Они проходили колоннами по десять тысяч скелетов в ряд; стены старого замка раздвигались или вовсе исчезали, освобождая им путь, и вся земля, насколько видел глаз, была забита ими. Имелось среди них и Недостающее звено. Так назвал этот скелет Сорок четвертый. Маленький и приземистый, он ехал верхом на длинношеем и длиннохвостом чудище; оно было длиной в девяносто футов и возвышалось над землей на тридцать три фута; по словам Сорок четвертого, чудище это вымерло восемь миллионов лет тому назад.

Часами шли мимо нас несметные полчища мертвых и так оглушительно гремели костями, что я едва слышал ход собственных мыслей. Потом Сорок четвертый взмахнул рукой, и мы остались одни в пустом и беззвучном мире.

— И теперь ты уходишь и больше уже не вернешься?

— Да, — ответил Сорок четвертый. — Мы с тобой долго дружили, и это было славное время — для нас обоих; но я должен уйти, и мы никогда больше не увидим друг друга.

— В этой жизни, Сорок четвертый. А в другой? Мы встретимся в другой, верно?

И тогда он спокойно и рассудительно произнес нечто непостижимое:

— Другой жизни нет.

Легким дуновением его дух коснулся моей души, поселив в ней смутную и туманную, но в то же время благословенную и отрадную надежду, что в его невероятных словах есть правда, более того — должна быть правда.

— Неужели ты не догадывался об этом раньше, Август?

— Нет, мог ли я вообразить такое? Но если только это правда...

— Это правда.

Мне захотелось выразить переполнявшую меня благодарность, но слова вдруг застряли в горле: меня одолело сомнение.

— Но... но... мы же видели будущую жизнь, — бормотал я. — Мы видели подлинные события и потому...

— То была греза, а не реальная жизнь.

Я чуть не задохнулся от радости: великая надежда встрепенулась во мне.

— Греза? Гре...

— Жизнь сама по себе лишь греза, сон.

Я был потрясен. Боже правый, тысячу раз эта мысль впивалась в меня в часы раздумий!

— Ничего не существует, все только сон. Бог, человек, мир, солнце, луна, бесчисленные звезды, рассеянные по вселенной, — сон, всего лишь сон, они не существуют. Нет ничего, кроме безжизненного пространства — и тебя!

— Меня?

— И ты не таков, каким себя представляешь, ты лишен плоти, крови, костей, ты — всего лишь мысль. И я не существую, я лишь сон, игра твоего воображения. Как только ты осознаешь это, ты прогонишь меня из своих видений, и я растворюсь в небытии, откуда ты меня вызвал...

Я уже исчезаю, таю, превращаюсь в ничто. Вскоре ты останешься один в бесконечном пространстве и будешь вечно бродить в одиночестве по безбрежным просторам, без друга, без близкой души, ибо ты — мысль, единственная реальность — мысль, неразрушимая, неугасимая. А я, твой покорный слуга, лишь открыл тебе тайну бытия и дал волю. Да приснятся тебе другие сны, лучше прежних!...

Удивительно, что ты не догадался об этом раньше, — годы, столетия, тысячелетия, миллионы лет тому назад, ведь ты провел вечность один на один с самим собою.

Удивительно, что ты не задумался над тем, что твоя вселенная и все сущее в ней — сон, видения, греза! Удивительно, ибо она безрассудна, вопиюще безрассудна, как ночной кошмар бог, в чьих силах сотворить и хороших детей, и плохих, предпочитает творить плохих, бог, в чьих силах осчастливить всех, не дает счастья никому, бог повелевает людям ценить их горькую жизнь, но отпускает такой короткий срок, бог одаривает ангелов вечным блаженством, но требует от других своих детей, чтобы они это блаженство заслужили, бог сделал жизнь ангелов безмятежной, но обрек других детей на страдания, телесные и душевные муки, бог проповедует справедливость и создал ад, проповедует милосердие и создал ад, проповедует золотые заповеди любви к ближнему и всепрощения — семижды семь раз прощай врагу своему! — и создал ад, бог проповедует нравственное чувство, а сам его лишен, осуждает преступления и совершает их сам, бог сотворил человека по своей воле, а теперь сваливает ответственность за человеческие проступки на человека, вместо того чтоб честно возложить ее на того, кто должен ее нести, — на себя, и наконец, с истинно божеской навязчивостью он требует поклонения от униженного раба своего

Теперь ты понимаешь, что такое возможно только во сне Ты понимаешь, что все — чистое безумие, ребяческий каприз воображения, не сознающего, что оно безумно, — словом, сон, который тебе привиделся Все признаки сна налицо — мог бы догадаться и раньше

Истинно говорю тебе — нет ни бога, ни вселенной, ни человеческого рода, ни жизни, ни рая, ни ада Все это — сон, глупый, нелепый сон Нет ничего, кроме тебя, и ты — всего лишь мысль, скитающаяся, бесплодная, неприютная мысль, заблудившаяся в мертвом пространстве и вечности

Он исчез, навсегда смутив мой покой, я понял, что все сказанное им — правда.